
ЕЛЕНА ЮНГЕР



*ДРУЗЕЙ
ПРЕКРАСНЫЕ
ЧЕРТЫ*



Annotation

В книгу Е. В. Юнгер, известной театральной актрисы, вошли рассказы, повествующие об интереснейших и значительных людях принадлежащих искусству, — А. Блоке, Е. Шварце, Н. Акимове, Л. Колесове и других.

- Друзей прекрасные черты

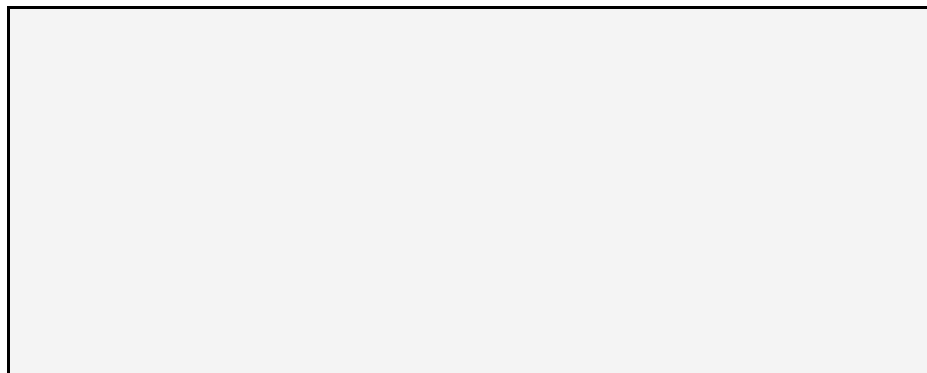
-
- ПРЕДИСЛОВИЕ
- ОТЕЦ
- ЧУЖИЕ ОКНА
- ВСЕ ЭТО БЫЛО, БЫЛО, БЫЛО...
- РАЗ В СТО ЛЕТ
- УЛИЦА РОССИ, 2
- СУНДУК ЗА ШИРМОЙ
- НАД «У» И «А»
- ДЕД МОРОЗ
- ВДАЛИ ОТ ДОМА
- НЕ ТОЛЬКО ДЕРЕВЯННАЯ НОГА
- ПОСЛЕДНИЙ ВЗГЛЯД
- ПЕЩЕРА ВОЛШЕБНИКА
- ГОЛЛИВУД. 1944 ГОД
- «ЧЕРНЫЙ ФЛАМИНГО»
- ДЕННИ И ЧЕРРИ
- ДЖИММИ ХАУ
- НЕКТО НА БУКВУ «Ч»
- ОТ ХВОСТИКА МОРКОВКИ...
- ДВА ХУДОЖНИКА В ОДНОМ ДОМЕ
- ДОМИНИК
- ПОРТРЕТЫ

- notes

- 1

Друзей прекрасные черты





ЕЛЕНА ЮНГЕР

*ДРУЗЕЙ
ПРЕКРАСНЫЕ
ЧЕРТЫ*

Достоверные рассказы



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 1985

ПРЕДИСЛОВИЕ

В свое время М. Горький говорил, что литература будущего станет литературой бывалых людей. Им есть что писать, у них есть ясное, определенное отношение к жизни. А до Горького примерно то же высказал и Лев Толстой: «Мне кажется, что со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения. Будет совестно сочинять про какого-нибудь вымышленного Ивана Ивановича и Марию Петровну. Писатели, если они будут, будут не сочинять, а только рассказывать то значительное или интересное, что им случилось наблюдать в жизни»^[1]. Интересно это совпадение мнений у столь разных писателей. Но еще интересней то, что предсказание это сбывается. Мы сами не очень замечаем, какое огромное место за последние полвека заняла в сегодняшней литературе документальная проза, проза пережитого, проза людей, пишущих о себе, о своей жизни. И интерес к этой достоверной прозе продолжает расти.

Елена Владимировна Юнгер написала книгу рассказов именно такого рода. Ей есть что писать, жизнь ее одарила множеством встреч, событий, главное же — одарила памятью и талантом рассказчика. Рассказы ее не мемуаристика, они именно рассказы, каждый из которых имеет законченный сюжет, создает цельный портрет, и все они пронизаны личностью автора. Они, эти рассказы, заинтересовывают не формой, не стилистикой, ибо во многом традиционны. Прежде всего, как бывает в таких случаях, они привлекают материалом. В них то, о чем мы мало знаем, а то и вовсе не знаем. Это рассказы о замечательных мастерах нашего искусства. В них проступает обстановка литературной жизни, кипучей жизни театра довоенных и послевоенных лет. Писатели, актеры, художники, цвет нашего искусства, — герои рассказов Е. В. Юнгер. Она умеет воссоздать атмосферу труда в искусстве. Самое сложное в литературе такого рода — передать процесс творчества, как оно делается — это самое то, что вызывает восторг читателя, слезы и смех зрителя. Елене Владимировне Юнгер помогает то, что она знает всю эту технологию изнутри, она сама талантливая актриса театра Комедии, жена замечательного режиссера Николая Павловича Акимова, поэтому так подлинны все подробности, все обстоятельства происходящего в книге. Мы видим муки, ошибки, смешные казусы, неизвестные нам, пожинаящим лишь результаты. Но книга не только об этом. Вот рассказ о А. А. Блоке. Всего лишь об одном поэтическом выступлении Блока в Большом драматическом театре. Вечер

возникает как картина, освещенная яркой вспышкой памяти, с драгоценными деталями, которые могли запомниться юному восторгу. Так же трогательно дороги рассказы об удивительном драматурге Евгении Шварце, о Чарли Чаплине, с которым автор общалась в США. Создать собственный портрет великого комика нелегко, поскольку существует всеобщее представление о нем и всякое новое изображение должно как бы совпасть с привычным. Ч. Чаплин в рассказе автора открывается в обаятельности своей особой простоты.

Рассказы Е. В. Юнгер сохраняют дорогой нам культурный слой, нажитый советским искусством, галерею его талантов — Сергей Городецкий, Лев Колесов, Елена Елагина, Михаил Чехов... Их немало, портретов людей дорогих и нужных памяти народной. От рассказа к рассказу передается и усиливается нравственное чувство, если не сказать идея, которая привлекает к себе, — это умение автора найти хорошее, доброе, благородное в характерах, проходящих перед нами. Не сентиментальный неразборчивый восторг, а трепетная тончайшая работа памяти. Автор извлекает то индивидуальное, личностное, что существует в этих общих расплывчатых понятиях хорошего. Это своеобразие, отдельность душевной красоты, очерченные у каждого, составляют как бы подсознательный замысел этой первой книги автора. Теперь, когда она написана, сознаешь, как было бы огорчительно, если бы она не появилась.

Даниил Гранин

*...И жизни солнечную нить
Глазами жадными следить...*

Владимир Юнгер

Мой отец ненавидел ложь. Во всех ее проявлениях.

Откуда у ребенка, впервые в жизни, появляется желание сорвать? Кто его учит этому? Неужели инстинкт? Но ведь не может быть такого инстинкта.

Родители ждали гостей. На столе стояла ваза с фруктами. Меня обычно кормили яблоками. Груши не считались полезными, и мне давали их редко. Поэтому мне очень нравились груши. В столовой никого не было. Я влезла на стул, потом на стол, откусила грушу и надкусанной стороной положила обратно в вазу. Мне было четыре года. Спать меня укладывали в восемь часов. Я не успела еще заснуть (на душе было не очень спокойно), как в коридоре раздались шаги. Осветился стеклянный квадрат наверху двери. В комнату вошли папа и мама. Щелкнул выключатель. Отец подошел к моей кровати и показал надкусанную грушу:

— Кто это сделал?

— Мышки... — жмурясь от яркого света, не задумываясь ответила я.

Мама засмеялась.

— У нас нет мышей, — сказал папа очень серьезно, — посмотри мне в глаза.

Деваться было некуда. Я твердо верила, что в моих глазах отец прочтет все.

Случай из ряда вон выходящий. Уложенного спать ребенка не полагалось тревожить ни при каких обстоятельствах. Только в случае чрезвычайного происшествия. Потихоньку надкусанная груша — было ЧП.

Думаю, если бы мой отец прожил дольше, он сумел бы начисто отучить меня от вранья. Мне удалось бы избежать этого жуткого периода вранья, свойственного многим детям, которым я так мучила мою бедную мать.

Приехала с визитом дальняя родственница. Привезла, лично мне, огромную коробку конфет. Родители мои жили скромно, и я таких коробок вообще никогда не видела. Особенно соблазнительной казалась мне большущая конфета — орех,

намазанный чем-то белым, в корочке тонкого леденца.

— Ты угостишь нас с мамой? — спросил отец.

Я не очень охотно подвинула к ним коробку. Отец взял блюдечко и начал, одну за другой, накладывать на него конфеты. Когда на блюдечко переместился и вожделенный орех, я не выдержала и заревела.

— Тебе жалко? — сказал отец и высыпал все содержимое блюдечка обратно в коробку. К этим конфетам никто не притронулся. И я тоже.

Все это, происходившее столько лет назад, я помню, как будто это было вчера. Помню чувство мучительного стыда из-за своей жадности, из-за трусости. «Посмотри мне в глаза, врут только трусы» — все это каленым железом выжжено в памяти.

Мне очень хотелось куклу — новорожденного ребенка с кривыми ногами и лысой головой. Я долго, без всякого результата, приставала к родителям. Но однажды, проснувшись утром, увидела у своей кровати долгожданного младенца. Я завернула его в тряпочку и вышла к завтраку. Родители сидели за столом.

— У меня родилась дочка, — торжественно заявила я.

Отец очень серьезно посмотрел на меня.

— А ты знаешь, что это очень больно? — сказал он.

— Володя, ну что ты говоришь ребенку! — вспыхнула мама.

— Дети понимают гораздо больше, чем мы думаем. А то, что они узнают в очень раннем возрасте, остается на всю жизнь. Нечего рассказывать им про аистов и капусту.

При доме, в котором мы жили, стоял особняк, принадлежащий хозяину дома, с довольно большим, прилегающим к нему садом. В самом начале революции домовладелец сбежал за границу, и сад стал достоянием детей нашего двора. В этом саду, за беседкой, я была застигнута отцом в компании мальчишек моего возраста — лет шести-семи — за курением папиросы, по очереди передаваемой друг другу. Отец спокойно взял меня за руку (он никогда не повышал на меня голос) и отвел домой.

— Понравилось курить? — спросил он.

— Да... — не очень уверенно ответила я.

— Зачем же курить всякую дрянь. У меня хороший табак, хорошая трубка, давай-ка я тебя научу. Мальчишки твои, наверное, тоже не умеют курить по-настоящему.

Помню двойственное ощущение: радости, что все обошлось, и растерянности — что-то было не так. Отец набил трубку,

раскурил ее и протянул мне.

— Вдохни дым как можно глубже, — сказал он.

— Володя, ты с ума сошел! — закричала из другой комнаты мама.

Мне почему-то стало страшновато, совсем не хотелось больше курить и втягивать в себя дым. Отец настаивал. Я вдохнула, не глубоко, совсем немножко. Закашлялась, слезы потекли из глаз.

— Понравилось? — спросил отец.

— Нет, — захныкала я.

Помню и сейчас это отвратительное ощущение. К сожалению, острого воспоминания о нем мне хватило лет на десять. Но все же — на десять.

В этом же саду росли омерзительные поганки. Масса поганок. Сперва они были белые, потом шляпки их закручивались и источали жидкий коричневый соус. Одному изобретательному мальчику, из тех, что курили за беседкой, пришла в голову остроумная мысль — швырять этими поганками в прохожих. Блестящее предложение было восторженно принято.

Глухая стена сада, выходившая на улицу, была очень высока. В саду к стене примыкала горка. Но даже скамейка, втащенная на гору и придвинутая к стене, не давала возможности заглянуть на улицу. Развлекались вслепую. Каждый старался набрать побольше гнусных, полужидких грибов и, вскочив на скамью, запустить их как можно дальше за стену. Мы были в каком-то зверином упоении. Ничего не видели, ничего не слышали, кроме собственного дурацкого хохота. Дикое веселье прервалось смачной руганью дворника, появившегося за нашей спиной в сопровождении гражданина, по лицу которого текла отвратительная коричневая жижа. Естественно, мы все враспынную бросились бежать.

Отца моего уже не было в живых. Мы, около полугода, жили вдвоем с мамой. Пулей я взлетела по лестнице на четвертый этаж, своим ключом отперла дверь (счастье, что мамы не было дома) и в жутком страхе ждала дворника. Он же должен был прийти жаловаться. И действительно, раздался звонок. Я схватила кусок сахара, он тогда уже стал большой редкостью, и открыла дверь.

— Миленький, пожалуйста, не говорите маме... Возьмите сахар, пожалуйста... Только маме не говорите.

Что меня надоумило дать ему сахар? Никто никогда меня этому не учил. Неужели это тоже инстинкт: я тебе то, а ты мне это...

Вечером я никак не могла заснуть. Все думала о моем отце.

Почему-то представила его с грибной блямбой на щеке. От одной мысли этой меня затрясло. Может быть, у того гражданина тоже есть дочка! Если бы она увидела его? Но больше всего меня мучил сахар. Как я могла сунуть этот кусок дворнику за то, чтобы он молчал? Я чувствовала себя униженной, опозоренной, сгорала от стыда. Отца моего уже не было. Может быть, он сказал бы мне все это, если бы был жив. Может быть, сказал бы что-нибудь гораздо умнее. Но я чувствовала его. Стыд, заложенный им, говорил во мне. Он руководил мною. На дворника, видимо, сахар подействовал, и он жаловаться не приходил. Я промучилась несколько дней и все рассказала маме. Стало легче. Она проявила мудрость и не ругала меня.

Имена Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Блока я знаю с тех пор, как помню себя. Отец читал мне пушкинские сказки, стихи Лермонтова, «Вечера на хуторе близ Диканьки». Блока мне не читали, но отец преклонялся перед ним и стихи его звучали в доме постоянно. Мама, обливаясь по утрам в ванной холодной водой, громко, нараспев читала:

Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух.
Да, таким я и буду с тобой...

Вот тогда я и запомнила эти стихи на всю жизнь.

У отца бывали поэты. Помню Есенина, Клюева, Корнея Ивановича Чуковского, Анну Андреевну Ахматову. Он любил, когда я заходила в его маленький кабинет и, сидя в углу, слушала. Я ничего не понимала, но поэтическая речь завораживала меня. Мне нравились эти люди. Они казались мне таинственными и прекрасными. Но лучше всех был мой отец — прекраснейший из прекрасных.

Он писал стихи. Я хотела подражать ему во всем. Тоже сочиняла:

Лиловая сирень повисла под окном
И нежным запахом пахнула мне листом,
Росой закапала в лицо,
Я спряталась скорее за окно.

Или:

Бабочка, бабочка, лети ты сюда,

То дождик-сарождик замочит тебя.

— Что такое «сарождик»?

— Злой дождик.

— Ты от кого-нибудь слышала это слово?

— Нет.

— Сама придумала?

— Да.

Долгий внимательный взгляд его удивительных глаз.

— Ну что ж, и так бывает.

Мне никогда не приписывали никаких исключительных черт, что так свойственно многим родителям. Отец терпеть не мог, когда ему говорили: «Ах, какая у вас забавная дочка!»

— Самая обыкновенная девочка, — отвечал он.

Часто зимою, проходя домой, он растапливал печку, надевал старое летнее пальто, служившее ему чем-то вроде халата. Уютный, особый «шерстяной» запах этого пальто ощущаю до сих пор. Отец и сам упоминает о нем в своих стихах:

Когда так холодно, и коченеют пальцы,
И в комнате тихонько воет печь,
И все из рук оледенелых валится,
Люблю в пальто закутаться и лечь.
Оно и в комнате приют мой и спасенье,
Косматое, широкое, как плед...

Запахнувшись «косматой» полкой, он ложился на диван. Это было мое время. Я забиралась с ногами, устраивалась около него и слушала сказки, воспоминания его детства, которые особенно любила. Иногда он говорил:

— Теперь ты Расскажи мне что-нибудь.

— То, что знаю, или из головы?

— Лучше из головы.

— Ну вот, значит... Жила-была девочка, значит... И пошла она, значит...

— Если ты после каждого слова будешь говорить «значит», то рассказ твой ничего не будет значить.

Как-то зимой мы вдвоем с отцом поехали к бабушке и дедушке на дачу в Териоки. Отец в это время с увлечением переводил «Калевалу». Финского языка глубоко он не знал и работал по подстрочнику. На станции мы вышли из вагона, отец нанял извозчика-чухонца. Веселая лошадка резво тащила

открытые сани. Прижавшись к отцу, укрытая собачьей полостью, я была наверху блаженства. Легкий мороз. Ранние зимние сумерки. Дорога — лесом. Ехать надо было довольно далеко. И вдруг отец начал читать «Калевалу», наизусть, по-фински. Читал вдохновенно своим звучным, красивым голосом. Твердое финское «р» так и раскатывалось, знакомые мне имена Айно и Вейнемейнен выплывали из непонятных звуков. Конечно же, легенда о старом, вещем Вейнемейнене давно была мне рассказана. Извозчик все время оборачивался, сияя восхищенной улыбкой. Когда мы приехали, отец с трудом уговорил его взять плату за проезд.

У нас завтракал Сергей Митрофанович Городецкий со своей дочерью Наей — моей подругой. Сидя за столом, я раскачивалась на стуле, что было категорически запрещено. Взрослые, увлеченные беседой, не обращали на меня особого внимания. Стул опрокинулся, и я трахнулась лбом об угол стоящей, позади книжной полки. Вскочила громадная шишка.

— Ай да молодец, — сказал Городецкий, — и не ревет!

— Она знает историю Муция Сцеволы и не позволит себе реветь из-за какой-то шишки, — ответил отец.

Во время эпидемии бешенства меня укусила бешеная собака. Мы гуляли с няней в саду, я сажала сухие ветки в снежные сугробы. Огромная, как мне показалось, белая собака набежала прямо на меня, повалила в снег, укусила за щеку и побежала дальше. Почему-то мне не было ни страшно, ни больно. Перепуганная насмерть няня потащила меня домой. Кровь лилась ручьем, заливая пальто. Встречные прохожие останавливались, охали и ахали, выражая соболезнование. Мне стало жалко себя, и я заревела.

Мама в это время лежала в больнице, отца не было дома. Ему позвонили по телефону, и он сейчас же примчался. Наверное, он был очень взволнован, няня сказала, что «на нем лица не было», но мне он этого не показал.

— Сейчас мы поедem с тобой в очень интересное место, — сказал он и повез меня в Пастеровский институт.

— Больно было? — по дороге спросил он.

— Нет.

— Не плакала?

— Плакала.

— Почему же?

— Меня жалели люди на улице.

— Вот уж этого я от тебя не ожидал. Мужественный человек

не любит, когда его жалеют, и уж, во всяком случае, не ревет по этому поводу.

Как всегда, отец не обманул меня. В Пастеровском институте и правда было очень интересно. Пострадали в эту эпидемию, главным образом, дети. Ребят в приемной было очень много, ждать очереди пришлось долго, и отец затеял игру в слова. Очень было весело. И что мог значить для меня ничтожный укол в живот? Для меня, хорошо усвоившей историю Муция Сцеволы.

Отец сам возил меня на прививки каждый день в течение полутора месяцев. Мы ездили на трамвае, а несколько раз, когда у меня поднималась температура, даже на машине. Это были замечательные поездки. Отец рассказывал мне про старый Петербург, показывал памятники старины.

Через несколько дней после случившегося маму выписали из больницы. Лицо мое было забинтовано и представляло собой довольно устрашающее зрелище. Чтобы не напугать маму, отец снял с меня повязку перед тем, как отправиться за ней. Щека и без повязки имела «красивый» вид. Ранки еще не зажили, и красные рубцы отчетливо выделялись.

— Мы скажем, что перепачкалась вареньем, — находчиво предложила я.

Отец посмотрел на меня, как мне теперь кажется, с презрением и ничего не сказал.

Мама приехала домой. Я вприпрыжку побежала здороваться.

— В чем это ты вымазалась? — спросила мама, она была близорука.

Я молчала. Отец засмеялся.

— Она хотела сказать, что вымазалась вареньем, но потом поняла, что врать не стоит ни при каких обстоятельствах, — сказал он. — Ты видишь, она здорова и весела. Теперь мы расскажем тебе, что у нас тут произошло в твоё отсутствие.

— Папа, гордецы плохие люди?

— Почему? Гордый соблюдает свое достоинство, которое никогда не следует ронять. Тот, кто кичится собой, вовсе не гордец, а глупый хвастун. Гордый человек всегда скромн.

Как-то днем в воскресенье родители ждали Анну Андреевну Ахматову.

В разговорах взрослых я много слышала о ней. Больше всего меня привлекало, что эта замечательная женщина обладала удивительной гибкостью тела. Лежа на животе, она могла обнять себя ногами за шею. Мне это казалось главным ее достоинством, и я мечтала с ней познакомиться.

В то время я очень любила кого-нибудь изображать — «представлять», как это называла няня, и наряжаться во всякие тряпки. Мама выбросила свой корсет. Каким-то образом он попал в мои руки. Розовый, с кружевами, он казался мне небесной красоты. Я очень волновалась по поводу предстоящей встречи с Анной Андреевной и решила принарядиться. Поверх своего обычного платья с фартучком я надела мамин корсет. Он закрывал меня всю, как броня, от плеч до колен. Очень довольная собой, со счастливой улыбкой до ушей, я вышла в столовую. Кроме отца, все захохотали. Отец отвел меня в детскую и, несмотря на горькие слезы и страшное сопротивление, снял с меня корсет.

— Мне пока еще не хочется тебе объяснять, в каких домах и какие дамы являются к гостям в подобных туалетах, — сказал он.

Много-много лет спустя Анна Андреевна, к моему удивлению, напомнила мне обстоятельства нашего первого знакомства.

Отец прочитал мне «Бориса Годунова» и «Горе от ума». Из «Бориса» я запомнила сцену у фонтана, плачущую по погибшему жениху Ксению и кровь, хлынувшую из ушей умирающего Бориса. У Грибоедова на меня произвел сильное впечатление прекрасный Чацкий, злая Софья и противный Молчалин. Несмотря на такое примитивное восприятие, отец решил повести меня в Александринский театр на «Горе от ума».

Мама возражала:

— Как можно тащить ребенка на вечерний спектакль? Ей спать надо. Она ничего не поймет.

— Что-нибудь да и останется в памяти. Пусть посмотрит замечательного артиста. Кто знает, может быть, ей и не придется больше увидеть Давыдова.

Отец настоял на своем. Вероятно, чтобы не травмировать маму поздним выходом из дома — спектакль начинался в восемь часов, время моего отхода ко сну, — мы пришли в театр очень рано. Помню широкие каменные плиты полутемного вестибюля и красные бархатные колбасы, висевшие поперек входных арок.

— Пойдем погуляем, — сказал отец, — у нас очень много времени.

Он повел меня по улице Росси, обращая мое внимание на ее особенности и красоту (и сейчас это одна из моих любимых и значительных для меня улиц). Мы прошли по Фонтанке, обогнули Аничков дворец и вернулись к главному подъезду театра. Публика уже собиралась, вестибюль был освещен, бархатные колбасы сняты. Мы долго поднимались, сперва по широким,

потом по совсем узким лестницам, и очутились в странном помещении под самым потолком, неподалеку от огромной сверкающей люстры. Наши места находились у довольно высокого, как мне показалось, заборчика, обитого по верху красным бархатом. Интересно было разглядывать через этот забор головы сидевших внизу людей. Поразило меня обилие плешивых и лысых. В Мариинском театре, на балете, я бывала несколько раз, когда какие-нибудь знакомые приглашали детей в ложу, а на такую высоту не забиралась никогда. Я поинтересовалась, почему мы не в ложе.

— Здесь сидит молодежь, которая по-настоящему любит театр, — ответил отец. — Другие билеты нам с тобой не по карману.

Поднялся занавес. Я увидела далеко-далеко маленьких человечков. Они ходили, сидели, разговаривали. Несмотря на дальность расстояния, все было хорошо слышно.

В антракте отец заглянул через барьер.

— Внизу много свободных мест, — сказал он. — Пожалуй, на галерке до тебя не все доходит. Попробуем перейти в партер.

Эти слова я услышала впервые. Мне очень понравилось слово «партер».

Мы спустились вниз. Отец поговорил со старичком в галунах, и тот провел нас к самой сцене и предложил сесть в широкие красные бархатные кресла, во втором ряду. Вот тут-то все и началось. Когда я совсем близко увидела этих красивых, обыкновенных и вместе с тем таких необыкновенных людей, я совершенно потеряла голову. Конечно, я как зачарованная смотрела на своего любимого, прекрасного Чацкого. Играл его очень известный актер, но отец его не признавал. Я восхищалась, как «мой Чацкий» изящно порхает по сцене, принимает красивые позы, красиво говорит. Отец сердился.

— Не на того смотришь, — шептал он мне. — На Фамусова, на Фамусова смотри. Не понимаю, откуда у тебя такой плохой вкус.

Но как могла я предпочесть толстого старика своему стройному красавцу? Я и запомнила его только сидящим в кресле, на авансцене, трясущимся от смеха. Отец и тут оказался прав. Это был первый и последний раз, когда я видела Владимира Николаевича Давыдова, и не сумела оценить его.

После спектакля я была в бурном восторге. Отец даже взял извозчика, чтобы праздник мой был полон до краев. Всю дорогу домой он пытался мне объяснить разницу в исполнении ролей Чацкого и Фамусова. Вряд ли я что-нибудь поняла, но, может быть, что-то и запало в душу.

Отец очень любил театр. Пока жива была Комиссаржевская, они с мамой не пропускали ни одной премьеры с ее участием. Он признавал только все «настоящее». Терпеть не мог мишуру, позу, любую фальшь.

Он и сам, когда приходилось, играл с увлечением. Помню, как он готовился к спектаклю в «Цехе поэтов». Ставили «Перстень Поликрата», пьесу в стихах, где действовали Поэт и Муза. Не знаю, кто написал ее, может быть, и сам отец. Ничего не сохранилось, кроме его рисунка тушью для пригласительного билета. Я всегда слушала, когда он разучивал роль Поэта. Мне очень нравилось. Знаю, что он имел успех. После спектакля актриса Яворская, занимавшая тогда особое положение в театре Суворина, так высоко оценила его исполнение, что пригласила к себе в труппу. Дома обсуждалось это предложение, отец отклонил его. Он не любил дилетантизма.

Очевидно, он был одарен во всех областях искусства, но ни одна из них не стала его профессией. Он был педагогом, и был им, я думаю, не только по профессии. Ученики его обожали.

Он очень любил музыку. Серьезную музыку. Летом, на дачу, он приезжал к нам только в свободные дни. Помню, как-то мы с теткой, маминей сестрой, возвращались с прогулки из леса. Подходя к даче, слышали звуки рояля.

— Володя приехал, — сказала тетка, — так только он играет.

Я очень хорошо помню его игру. Именно на даче. Дома, в городе, у нас рояля не было.

Читать я начала рано, читала много. Книги мне подбирал отец. Всевозможные сказки, исторические книги, рассказы о животных. Чарской в доме не существовало. Он сумел мне внушить такое отвращение к Чарской, что она не вызывала никакого интереса. Когда я видела ее книги у других детей, мне даже трогать их было неприятно, как будто они носили в себе какую-то заразу. Уже будучи совсем взрослой, я из любопытства прочла несколько ее книг и снова убедилась в правоте отца.

Наталья Григорьевна Долинина писала, что ребенку нужен не только идеал, но объект для влюбленности. Да. Я очень любила отца, авторитет его был непреложен, и я все время восхищалась им. Непримируемый и строгий в серьезных вопросах, он удивительно умел радоваться жизни. Во всем. Когда он шутил и дурачился, я заходилась от восторга. Отец и мой дядя Шура, его брат-близнец, поразительно походили друг на друга. Даже голоса были одинаковые. Их часто путали, а они этим развлекались. Иногда менялись костюмами, и тогда уж совсем трудно было их различить. Однажды отец чуть ли не полчаса проговорил с женой

своего брата, а ей и в голову не пришло, что это не ее муж. Чтобы видом своим не выдать отца, я сидела под столом и лопалась от смеха и счастья. Только мама, что бы он ни выделявал, всегда узнавала его и очень гордилась этим.

Одно лето мы жили в пансионате под Кексгольмом. Здесь ходили в национальных костюмах, соблюдали старинные обычаи. Каждое воскресенье в большом амбаре устраивались танцы. Танцевали все — хозяева и служащие пансионата, дачники и, конечно, дети. Танцы были бесхитростные, вполне доступные самому юному поколению. Под аккомпанемент народных инструментов и под общее хоровое пение — «ран кан каликали, ран кан каликали» — пары шли по кругу. После слов «хювест ванха культа» — «прощай, старая любовь» (некоторые для смеха в подходящих случаях пели «ванха асси» — «старый осел») — кавалеры кланялись, дамы приседали и переходили к следующим партнерам: женщины двигались вправо, мужчины — влево. Под припев «нут он тюттеле, нут он тюттеле уси» — «привет, новая девочка» — вновь образованные пары кружились, подпрыгивая, и потом опять «ран кан каликали» и так далее.

Большим праздником считался Самсониев день — праздник семи сонь. Рано утром процессия ряженных обходила всю территорию, громко колотя ложками в кастрюли и сковороды. В этот день все должны были явиться к завтраку вовремя. Кто проспал и опаздывал, того забрасывали репейником, хлестали чертополохом и крапивой. А вечером в амбаре вместо обычных танцев готовился маскарад.

Из маминых панталон и ночной кофты мне соорудили костюм Пьеро. Помпоны — из свернутых черных чулок. Я была в упоении. Правда, радость мою несколько омрачил один мой сверстник, с которым я дружила.

— Сегодня я буду танцевать с твоим папой. Ты Пьеро, а я буду молочницей, — гордо заявил он. — Я сегодня девочка, а ты мальчик.

Я хотела зареветь, но, вспомнив заветы отца, что удары судьбы надо встречать с открытым забралом, взяла себя в руки.

Маскарад очень удался. Время от времени я ревниво высматривала своего соперника в костюме молочницы, но народу было очень много и он, к счастью, не попался мне на глаза.

В самый разгар веселья в середине танцующего круга внезапно появилась стройная дама. На ней был длинный синий закрытый костюм и шляпа с густой черной вуалью. Кивая головой в разные стороны, не произнося ни единого звука, легкой, семенящей походкой она несколько раз пробежала по кругу под

любопытными взглядами танцующих. Я раскрыв рот смотрела на нее, ее синий костюм мне что-то смутно напоминал. Вдруг эта дама подбежала ко мне, необычайно сильные руки схватили меня, закружили в бешеном ритме, подкинули в воздух, поставили на пол. Несколько воздушных поцелуев туда, несколько — сюда, опять легкий, семенящий пробег, и дама исчезла. Я стояла разинув рот, онемев от восторга и гордости.

— Кто это? Кто это? — раздавались заинтригованные голоса.

— Мама, кто это? — закричала я, очнувшись от столбняка и увидев откуда-то возникшую маму.

Мама, смеясь, вывела меня на воздух.

— Неужели ты не узнала своего отца? Какая ненаблюдательная. Он же был в моем костюме.

Отец и дядя Шура, почти как все близнецы, были очень дружны между собой. Дядя Шура заканчивал архитектурный факультет Академии художеств и перед сдачей диплома хотел показать отцу свой дипломный проект. Отец взял меня с собой. Мы шли с ним пешком по льду, через замерзшую Неву. Смеркалось. На набережной фонарики влезали на узкие черные лестницы, которые носили за спиной, и зажигали газовые фонари. Шелестя полозьями, проносились сани, лошади стучали копытами по заснеженным торцам. Как я любила эти прогулки с отцом, именно в это время суток. Город казался таинственным, загадочным, даже немного страшноватым. Крепко вцепившись в руку отца, я твердо знала, что я в безопасности. Такой надежной и сильной была эта рука. А легкая боязливость, вызванная сумеречными очертаниями набережной, приятно щекотала сознание. По каменным ступеням, между двумя сфинксами, мы поднялись на берег Васильевского острова как раз напротив Академии и вошли в здание. Широкая лестница, огромный, слабо освещенный коридор, в конце его — яркий свет из полуоткрытой двери. Там дядя Шура, склонившийся над своей работой. Я очень любила дядю Шуру. Не только потому, что он был так похож на моего отца. Это был замечательный человек. Мне посчастливилось знать его и взрослой. Он более чем на двадцать лет пережил своего брата, и все равно конец его был преждевременным и печальным.

— А-а, вы вдвоем пришли, — приветливо сказал дядя Шура.

— Как же я мог не взять ее с собой. Она еще никогда не была в Академии художеств, — ответил отец. — Она должна знать все прекрасное в своем городе.

Несмотря на невероятное сходство обоих братьев, мне

думается, я бы различала их, как и мама. Дядя Шура был мягче. Отец был более энергичный, более подвижный. Когда я поджидала его приезда из города на дачу и видела, как он входил в калитку и летящей походкой шел мне навстречу, у меня замирало сердце. Как сейчас вижу его — в белых брюках, в синем пиджаке, в рубашке «апах» с открытым воротом. Он брал меня за обе руки, бежал со мной по дорожке сада, приподнимая над землей. Это называлось «на крыльях урагана». Я любила смотреть, как, играя в теннис, он летал по корту. Когда там же, на даче, я запихала себе в нос сапожную пуговицу, никто не мог ее вытащить и пришлось обратиться к врачу, он посадил меня на плечи и не бежал, и не шел, — а именно летел по улице.

Как-то старшие дети играли в «казаков-разбойников», я надоедливо приставала к ним, чтобы меня приняли в игру. Желая отделаться от моего нытья, они отвели меня в крытую беседку.

— Ты будешь сторожевая собака. Сиди под лавкой, карауль разбойничий притон.

Я, гордая, что принимаю участие в игре старших, терпеливо сидела на четвереньках под скамейкой. Проходивший мимо отец заметил меня.

— Почему ты сидишь в пыли, не бегаешь в саду?

Я объяснила ему причину.

— А-а, ну это другое дело, к своим обязанностям надо относиться ответственно.

Он терпеть не мог нотаций и нравоучений. Считал их бессмысленными. Все замечания, так прочно застрявшие в памяти, он делал как бы в игре и вместе с тем всегда очень серьезно.

Отец очень любил грозы. Как только раздавались первые раскаты грома, он всегда выходил в сад. Как-то ночью его разбудила страшная гроза. Он, конечно, вышел из дома. Проснувшись под утро, мама испугалась — отца не было рядом. Пошли его искать. Он лежал на траве без сознания. Невдалеке стояло расщепленное дерево. Молния ударила в него и оглушила отца. Скоро он пришел в себя. Мама плакала, а он смеялся. Потом весело рассказывал об этом как об увлекательном происшествии.

В конце своей жизни отец страстно увлекся рисованием. В особенности портретами. Он рисовал везде и всех. В трамваях, в поездах — неизвестных ему пассажиров. Стоило ему где-нибудь присесть, сейчас же из кармана вынимался маленький альбом и карандаш. Рисовал всех знакомых, без конца заставлял позировать нас с мамой. Его портрет Есенина, сангиной, был

опубликован несколько лет тому назад. Последние два года он занимался рисунком и живописью у Шухаева и Яковлева. Шухаев высоко отзывался о его способностях и удивлялся быстроте его успехов. Интересно, что в это же время у этих же художников учился и Николай Павлович Акимов. Может быть, даже наверное, они и встречались. Знакомы не были. Николай Павлович был еще совсем мальчиком, а отец очень взрослым человеком.

Думаю, если бы он прожил дольше, он стал бы настоящим художником. Очень уж настойчиво и одержимо он отдавался этому занятию. Нашел под конец ту область искусства, которой мог бы посвятить себя целиком.

Отец мой умер от «испанки» в восемнадцатом году. Ему не исполнилось и тридцати шести лет.

Был вечер, не то в «Бродячей собаке», не то в «Привале комедиантов», а может быть, в «Цехе поэтов» — не знаю точно. Выступал Маяковский. Отец был им увлечен. Вспыхнули споры, отец принимал в них участие, очень разгорячился. Он был подвержен простуде. Наутро — температура выше сорока. Меня отправили к бабушке. Я прожила у него около недели. Спала на диване в столовой. Там стояли большие старинные часы с низким, тяжелым боем. Мне не мешал этот бой. Я крепко засыпала в восемь часов, ничего не слышала и никогда не просыпалась.

И вдруг однажды ночью я вскочила. Били часы. Я сосчитала — десять ударов. С какой-то невероятной тоской подумала об отце. Заплакала и в слезах заснула.

Утром бабушка вошел в столовую и сказал: «Твой папа умер».

Во время болезни отец не приходил в сознание. Перед смертью, в бреду, он вскочил с постели, побежал в детскую и наклонился над моей пустой кроватью. Упал. Сказал, почему-то по-английски: «More light!» (последние слова Гете — «Mehr Licht!» — «Больше света!»), и все кончилось. Было десять часов вечера.

Утром меня отвели домой, к маме. Она сидела на любимом папином диване у него в кабинете, совсем седая.

Ей было двадцать семь лет.

В конце своих стихов, посвященных четырем его друзьям, отец написал о себе самом так:

Блюда обычай Возрожденья,
Скажу ль о пятом слова два?
В его сознании от рожденья
Двух рек сливались рукава,

Две несогласные стихии:
То грезить о скитах России
На крайнем севере страны
В печалях снега и сосны,
То в жизнерадостности дикой
И с пеньем в трепетной крови
Все силы жертвовать любви
Непостижимо многоликой
И жизни солнечную нить
Глазами жадными следить.

На стене у меня висит портрет моего отца работы художника Браза. До войны он всегда находился в маминой комнате. Во время блокады мы улетали из Ленинграда почти без вещей. Мама была уверена, что мы вернемся. Портрет дождется нас.

Кончилась война. Мы возвратились домой. Портрета не было. Как ни странно, сохранились какие-то вещи, которые можно было использовать как дрова. На их сохранность никто не рассчитывал. А портрет исчез. Мы погоревали немного, но что делать. И не то теряли люди во время войны.

Прошло несколько лет. И вдруг мне звонит известный ленинградский коллекционер профессор Борис Николаевич Окунев.

— Скажите, пожалуйста, вашего дядю, художника и архитектора, писал Браз? Дело в том, что в одном комиссионном магазине, продается портрет, хочу его купить. Я всегда люблю знать, кто изображен на приобретаемом мной портрете. С вашим дядей мне приходилось встречаться, по-моему, это он. Но я хотел бы удостовериться.

У меня что-то шевельнулось в груди. Я знала бразовский портрет отца. Никогда не слышала, чтобы дядя Шура ему позировал. На всякий случай я спросила у мамы.

— Это твой отец, — сказала она, и голос ее дрогнул.

Борис Николаевич любезно отказался от покупки и предупредил в магазине, чтобы портрет отложили для меня. Я очень благодарна ему за это.

Сейчас же помчалась на Невский и на втором этаже комиссионного нашла портрет своего отца.

Мы не интересовались, как он попал туда. Это было неважно. Важно, что он вернулся домой.

ЧУЖИЕ ОКНА

Не помню, ходили в двадцать первом году трамваи или нет. Впрочем, несложно это выяснить, но не в этом дело. Вероятно, ходили, но все передвигались по городу пешком. На любые расстояния. То ли ждать приходилось слишком долго, то ли по привычке.

Помню темные утра в плохо освещенной кухне. Близорукая мама собирает меня в школу. В ходу еще были лепешки из картофельной шелухи — не частое лакомство — или аппетитные котлеты из пшенной каши, подсушенные на горячей сковороде без масла. Вздрагивает кухонный колокольчик, дернутый снаружи за медную бляшечку, — это мои товарищи с верхнего этажа заходят за мной, чтобы вместе идти в школу. На улице совсем темно. Выходить приходилось за час до уроков. Скользко, снежно, идти далеко. Живем мы на Мойке против Новой Голландии, школа — на улице Перовской. На ногах у меня старые мамины серые фетровые боты, в каждом из них свободно помещаются обе ноги. Может быть, выпуская из рук готовую работу, мастер-сапожник гордился ими, если и было так — то очень давно. Сейчас, со временем, загнущимися кверху носами они больше похожи на горные лыжи, но скользить в них лучше не по снегу, а по ледяным пролысынам тротуара, чему очень помогают вдавленные внутрь, стоптанные каблуки.

Путь в школу темный, поспешный, знобкий — поспать бы еще — неинтересный путь.

Зато обратно! Утренние мои спутники старше классом, наши занятия кончаются в разное время. Из школы мы идем с подругой. Можно не торопиться. Сколько радостей сулит это длинное путешествие! По улице Плеханова, потом по Декабристов. Иногда мы идем мимо жутковатых, еще не срытых руин Литовского замка, иногда сворачиваем к Поцелуеву мосту и шагаем под тополями по набережной Мойки мимо арки Новой Голландии.

По дороге можно заглядывать в чужие окна, особенно в зимнее время, когда в нижних этажах рано зажигают свет. Мы знаем, что это не полагается, но очень уж увлекательно посмотреть, как живут люди.

Приятно зайти в только что отделанную белым кафелем, недавно открытую нэповскую колбасную. Цены, выставленные в окнах, космические, но немного постоять и понюхать, как пахнет колбасой, никто не запрещает.

Но самое интересное рассказывать и слушать. Моя подруга чаще меня бывает в театрах. Главным образом, в опере и в балете.

Она подробно знакомит меня с содержанием «Аиды» или «Корсара». Она помнит все детали и так красочно их передает, что мне кажется: я сама видела эти волшебные зрелища.

Мы доходим до моего дома, я иду провожать ее, потом она провожает меня, и так несколько раз, пока мы не находим силы поставить точку.

В те годы, пожалуй, больше всего времени проводилось в длинных хождениях по городу. Все время куда-то зачем-то посылали. И почему-то в самые противоположные концы. То надо было идти за спичками к Варшавскому вокзалу, то можно было получить очищенную соль на Васильевском острове. Меня это не огорчало. Ходить было интересно и гораздо приятнее, чем готовить уроки.

Особенно я любила, когда меня посылали в Дом искусств на углу Мойки и Невского. Мой дедушка был членом Союза художников, имел право там на какой-то обед, и меня иногда отправляли туда, снабдив двумя кастрюльками. Приходилось стоять в очереди, но мне нравились люди, которые там стояли, и я присоединялась к ним с удовольствием.

Однажды массу нареканий и упреков вызвал там очень симпатичный гражданин за то, что пришел за обедом с белым эмалированным ночным горшком с крышкой.

— Безобразие! — возмущались вокруг. — Позволить себе такое издевательство!

— Почему же издевательство? — оправдывался он. — У меня нет никакой кастрюли. Купить же нигде! Это совершенно чистый, ни разу не использованный горшок. Не все ли равно, какая форма у посуды?! Пора кончать с предрассудками!

И писатели, и поэты не гнушались очередей. Для меня эти люди с младенчества были все равно что волшебники, и я жадно смотрела на них во все глаза.

Приезжал из Баку Сергей Городецкий со своей старшей дочерью Таей. Останавливались они в Доме искусств. Это была славная бойкая девочка, бурного нрава, с живой фантазией. Я дружила с младшей — Наей. С Таей познакомилась впервые. Мы быстро нашли общий язык. Я была счастлива, что могу часто бывать в этом доме, который так интересовал и притягивал меня. Мы с ней обегали все залы, коридоры, облазили все лестницы и закоулки. А однажды перехлестнули через край в наших шалостях и довольно-таки провинились.

Готовилось открытие выставки разных художников. Работы были развешаны. Каталоги, вероятно из-за малого тиража, разложены на окнах, прикреплены в разных местах на стенах —

веревочками и гвоздиками. Мы с Таей свободно разгуливали по залам, разглядывая картинки.

— Поди-ка сюда! — крикнула она мне. Она стояла у портрета седого, лысоватого старика под номером двенадцатым. — Посмотри в каталоге, что там написано!

Я прочла: «№ 12 — Яблочный сад»! Я опешила. Она захохотала. Захохотала и я, и мы покатались, захлебываясь неудержимым дурацким смехом. Потом мы переклеили еще пару номеров, вызывая в себе новые приступы смеха. Потом мы вошли в такой азарт, что стали как безумные перепутывать чуть ли не все номера подряд. Чем нелепее сочетались надпись с изображением, тем сильнее заливались мы ставшим уже мучительным, изнуряющим смехом. Перехохотавшись, мы немного успокоились и, охрипшие, с покрасневшими глазами, ушли.

Можно себе представить, какой разыгрался скандал на вернисаже. Бедный Федор Федорович Нотгафт, на него страшно было смотреть. Началось расследование. Но мы сами, потрясенные результатами нашего безобразия, пришли с повинной и признались во всем. стыдно было ужасно. Нас простили под влиянием добрейшего, милейшего Федора Федоровича, но свободно слоняться по Дому запретили наотрез. Городецкие вскоре уехали, а мне одной такие опасные соблазны, пожалуй, не угрожали.

ВСЕ ЭТО БЫЛО, БЫЛО, БЫЛО...

Бывая в Доме искусств то по домашним поручениям, то на каких-нибудь чтениях, дважды удалось увидеть промелькнувшего... Нет, нельзя сказать про него «промелькнувшего». Дважды среди разных лиц возникал Александр Александрович Блок. В своем обычном для тех дней белом свитере, слегка склонив набок голову, он внимательно слушал собеседника. Другой раз — просто прошел в конце коридора. И что-то необыкновенное делалось внутри. Хотелось бежать и кричать: «Я видела Блока! Да, да, сегодня видела самого Блока!»

На вечер Блока, в конце апреля, в Большом драматическом театре, меня взяли. Помню все. Отчетливо и ясно с момента выхода из дома. Я шла с мамой и с маминой подругой. Мы прошли по улице Глинки, обогнули Никольский собор — Николу Мокрого, как называла его няня, — завернули на Садовую и двинулись по ней до Чернышева переулка. Выйдя заблаговременно, не спеша шагали по пустоватой мостовой. Сперва мама с подругой оживленно беседовали, но по мере приближения к месту примолкли. Еще не доходя до переулка, мы чуть обгоняли или равнялись с небольшими группами людей, которые так же медленно и молчаливо шли, по-видимому, туда же, куда и мы. В Чернышевском переулке группы людей становились многочисленнее и гуще. Шли по обоим тротуарам и по середине улицы. Мы миновали площадь, свернули на Фонтанку. По набережной народ двигался почти сплошным потоком. У Большого драматического стояла толпа. Было еще рано. До начала вечера оставалось порядочно времени.

— Как его любят! — сказала мама.

Это было совсем не похоже на шумную предпремьерную суету. Ни оживленной болтовни, ни легкомысленных смешков. Серьезные и торжественные лица. Тогда я была еще очень мала, не могла понять, не могла сравнить. Теперь, когда я вспоминаю это, я думаю: так идут на похороны. На очень важные, парадные похороны великого и обожаемого человека.

Мы стояли в стороне от входа. Мама хотела выкурить папиросу. Я смотрела на лица проходивших. Я помню их и сейчас. Тревожные, ожидающие и озаренные. Такое выражение лиц я видела, когда меня впервые взяли к пасхальной заутрене посмотреть на крестный ход.

Мы вошли в театр. Зал наполнялся почти бесшумно. Вереница людей струилась по проходу партера, пробираясь между

рядов голубых бархатных кресел. Шорох, шелест, шепот. Ни громких возгласов, ни резких движений. Свет в зале притушили. Корней Иванович Чуковский обратился к собравшимся со вступительным словом. Из всего, что происходило в тот вечер, я совершенно не запомнила Чуковского. Не помню, как он выглядел, не помню, что говорил. Зато Александра Александровича Блока я запомнила, как будто видела его вчера.

Блок вышел, и шквал аплодисментов обрушился на него. Он неподвижно ждал, пока стихнет публика, изредка поднимал глаза на верхние ярусы. Большие печальные серые глаза.

Он начал читать. Нельзя было оторвать от него ни глаз, ни сердца. Едва заметное дуновение воздуха, легкий сквозняк, обычный на сцене, чуть шевелил его тонкие рыжеватые волосы. Казалось, мерцающее сияние венчает его, гордую, прекрасную голову.

В его чтении была та великая магическая сила, которая завораживает и приобщает к тайне поэзии. Ему без конца хлопали. С галерки неслись умоляющие вопли: «Незнакомку! Незнакомку!» Он смущенно поглядывал в темную высоту и читал только то, что хотел.

Много сказано и написано о его глухом голосе. Не знаю, может быть, глухой, но читал он ясно, мерно. Каждое слово не слетало с губ, а падало, попадая в самую глубину души.

Я тогда уже знала наизусть его стихи: «Девушка пела в церковном хоре...» Мне кажется, я с абсолютной точностью могла бы воспроизвести его чтение этого стихотворения. Так ясно и мощно оно звучит в моих ушах. Конечно, я никогда не позволю себе такого кощунства.

Сколько грозных событий прошло с тех пор, сколько пролетело радостных мгновений, но ничто не затмит в моем сознании образа поэта, не заглушит его голоса.

Так и стоит он перед глазами на театральной сцене, с белым цветком в петлице. Печальная, смущенная улыбка на губах, сияющий нимб колеблется вокруг головы.

Благодарю судьбу. Я была на его вечере. Я видела и слышала Александра Блока.

С утра дул ветер с моря. Когда мы с соседскими мальчиками бежали в школу, вода в Мойке стояла высоко. Ничего необычного в этом не было.

Но, возвращаясь домой после уроков, пришлось бороться с настоящим ураганом, с трудом преодолевая сильный напор ветра. Казалось, что идешь упираясь в мягкую, но очень упругую стену. Спирало дыхание, разбирал бессмысленный смех, охватывало щекочущее и вместе с тем какое-то торжественное волнение. Тополя, посаженные вдоль берега, гнулись, ветки скрипели, с треском ломались и уносились разгулявшимися волнами. Вода поднялась почти до самого тротуара. На него сыпались едва начавшие желтеть листья. Сорванные ветром, они слетали на гранитные плиты и тут же вздымались вверх, кружились, подхваченные вихрем.

Дома все уже сидели за обеденным столом. Окна столовой выходили во двор на глухую стену, а окна маминой комнаты смотрели прямо на Мойку. Все по очереди вскакивали с места и бегали туда взглянуть, не вышла ли она из берегов.

Один только швед — милый, застенчивый молодой человек в больших круглых очках, похожий на известного киноактера Гарольда Ллойда, — невозмутимо продолжал есть. Он жил у нас около месяца. Дедушку попросили приютить его на некоторое время, — живя в семье, он мог бы совершенствоваться в русском языке. Не знаю, удалось ли ему впоследствии добиться каких-нибудь успехов. По-русски он знал слов двадцать, ни на каком языке, кроме шведского, не изъяснялся, а в нашей семье по-шведски никто не говорил. Объяснялись мы, главным образом, жестами, общались только за едой. Ел он исправно и аккуратно, ничего не оставлял на тарелке, тщательно складывал салфетку, говорил «блягодару» и уходил к себе в комнату, вероятно в одиночестве совершенствоваться в русской речи.

В этот день он меня поразил. Я запомнила его на всю жизнь.

Взволнованные вопли очередного наблюдателя из маминой комнаты заставили всех вскочить и кинуться к окну.

Мойка выхлестнулась через край и широкими рябыми языками заливала мостовую. Мгновенно вода докатилась до дома и ринулась в полуподвальную столярную мастерскую несмотря на плотно заделанные окна. Чугунная решетка с гранитными столбиками на глазах исчезала под водой. Быстрота прибывания казалась немыслимой, неправдоподобной. Вот уже и решетка исчезла, несколько секунд продержались маленькие плоские

островки мокрого камня, самые высокие точки речной ограды, и ушли под тяжелую черную массу воды. Еще немного, и высокие перила Храповицкого моста, перекинутого через Мойку в месте слияния ее с каналом Круштейна, почти затоплены. Только изредка, между пенистых гребней, показываются их деревянные хребты. Перед глазами — широкое водное пространство, волны плещутся о глыбы домов. Станный, страшный звук — несуразный в центре огромного города.

Какой-то приземистой, нелепой тумбой торчит из темной воды верхняя половина изящнейшего павильона Бобринского особняка.

Бегу в столовую посмотреть, что делается во дворе. В просторную подворотню довольно плавно, широкой лавиной движется водная сила. Площадь двора, вымощенная булыжником, скрыта полностью.

А швед не торопясь доедает котлету и принимается за компот.

Несусь по коридору в кухню, к черному ходу. Уже подбегая к двери, слышу за ней непонятный хриплый рев и шум водопада. Мы живем во втором этаже, здесь вода кажется очень близкой. Стоя на площадке черной лестницы, перевесившись через перила, с ужасом смотрю на мощный бурный поток. Прорвавшись со двора в небольшую входную дверь, с жутким воем он хлынул по узкой лестнице в подвал, где находились дрова. Что Ниагара по сравнению с этой силой! Клокоча и бурля, он выворачивает железные перила, грохоча по крутым ступенькам, сносит все, что попадает на пути. В водовороте крутятся вырвавшиеся на свободу поленья, тяжелыми ударами сбивая со стен штукатурку. Страшно, но оторваться от этого зрелища невозможно. Зову своих — в гуле и грохоте водопада ничего не слышно. Бегу за ними в столовую. Швед все еще сидит за столом, педантично складывает салфетку.

Мы все — мама, бабушка и тетя — проносимся в кухню, выскакиваем на лестницу. Все замирают перед этой сокрушительной картиной.

А вода все прибывает, проникая во все щели, яростно бьется о стены, словно злясь на тесноту лестничной клетки. Казалось, она никогда не остановится, затопит все пять этажей до самого чердака. На безлюдную вначале лестницу стали выползать жильцы из соседних квартир. Вытаращив глаза, открыв рты, скованные страхом, созерцали они эту фантазмагорию.

— А Варе-то нет до сих пор дома! — вдруг диким голосом закричала мама.

Варя, младшая мамина сестра, студентка Географического

института, посещала лекции по вечерам, а днем работала в лаборатории Академии наук, на Васильевском острове.

Мы ринулись обратно в кухню, по коридору, через столовую, в мамину комнату, посмотреть, что делается на улице. В столовой я задержалась. Меня интересовал швед. Он спокойно стоял у окна, глядя, как плещется вода во дворе. Не обратив никакого внимания на мою семью, галопом промчавшуюся мимо него, он повернулся ко мне, сказал «блягодару», жестом указывая на свою пустую тарелку, и неторопливо направился к себе в комнату, очевидно продолжать занятия русской грамматикой по шведскому учебнику.

Мне хотелось крикнуть ему: «Как вы могли есть, как вы можете оставаться спокойным, когда происходит такое?!» Но я не знала, на каком языке кричать. Впрочем, если бы и знала, наверно, не крикнула бы.

Между тем выяснилось, что телефонная связь нарушена. Дедушка тщетно пытался дозвониться в Академию наук.

Бурное водное пространство, раскинувшееся под мамиными окнами, стало постепенно оживать. Поначалу казалось, что город вымер. Живое все попряталось. Только ветер и волны свободно разгуливали по улицам. Теперь у отдалившегося благодаря буйному разливу реки острова Новой Голландии появились шлюпки. Откуда-то выплывали самые неожиданные предметы, кружась и покачиваясь на волнах.

Что же с Варей?! Где она? Если успела уйти из лаборатории, стремительно наступавшая вода могла настигнуть ее на улице!

Но вот у домов набережной канала Круштейна, выступавших из воды, как в Венеции, показалась большая лодка. Она явно приближалась к нашему дому. Завернутые в брезент люди, укрывшись с головой, тесно прижимались друг к другу. Управляли ею веслами и багром — двое мужчин. Перерезая речную ширь, прямо в том месте, где скрылся берег Новой Голландии, лодка шла к нам. Мы все бросились на парадную лестницу.

И вот в широко распахнутые двери подъезда, в холодный полумрак вестибюля, как в таинственный венецианский грот, захлестываемая волнами, вплыла лодка. Подобраться к сухим ступенькам вплотную она не могла, и мы с тетей, по колено в воде, помогали продрогшей и промокшей Варе перелезть через борт.

Она вышла из трамвая на нашей остановке, на площади Труда, когда вода начала свое нашествие. Нева, Крюков канал, канал Круштейна и Мойка почти одновременно вырывались из берегов, образуя нечто вроде водоворота. В дикой панике,

буквально преследуемая стремительным течением, до половины мокрая, она добежала до высокого крыльца еще стоявшего тогда Благовещенского собора. Там уже ее, напуганную, окоченевшую насквозь, подобрала лодка и привезла домой.

Мы растирали ее водкой, поили горячим чаем, закутывали в теплые одеяла и платки, а из комнаты шведа доносились монотонные, размеренно произносимые слова: «Я ййду, ти ййдешь, он ййдет...»

К вечеру вода начала спадать и уходила почти так же быстро, как и пришла.

Какой печальный вид представился нашим глазам, когда мы утром вышли из дома, чтобы идти в школу. Ветер стих. Яркое солнце поблескивало на успокоившейся реке, а кругом... Вывороченные рамы из окон подвальных и первых этажей, битые стекла, сломанные деревья, искалеченные предметы домашнего обихода... На чугунных перилах набережной сидел верхом деревянный стул с торчащими пружинами... Какие-то старушки с заплаканными глазами в тщетных поисках чего-то шевелили палками мокрые кучи обломков...

В школе занятия были отменены, младшие классы распущены. Средним и старшим предложили убирать воду, по щиколотку стоявшую в раздевалке и на всем первом этаже. Ребята с воодушевлением принялись за работу, покончили с ней довольно скоро и отправились бродить — смотреть, что же натворила вчерашняя буря.

В плачевное состояние пришел Ленинград после нескольких часов, проведенных под игом Невы. Вероятно, похожее впечатление вызывает поле после налета саранчи. Мучительно жалкий вид имели торцовые мостовые.

Невский, улица Герцена, улица Гоголя — вымощенные торцами... Гордость нашего города прежних лет, личная его собственность! Разве можно забыть это блаженное ощущение — ступать по темному, чуть-чуть пружинящему настилу из толстых березовых шашек! Почерневший от времени и сырости, под ногами он кажется мягким, теплым по сравнению с холодным и твердым булыжником. В дождь он как бы вбирает влагу, дает возможность идти посуху. Никогда не бывает скользким. За ним заботливо следят: время от времени на темном фоне вместо подгнивших половиц появляются светлые заплатки, вытесанные из свежего дерева.

А его запах! Немного и дегтем, и смолой, и сыроватым поленом, и еще чем-то, ни на что не похожим, напоминающим запах деревянных речных причалов.

А с чем сравнится легкий стук лошадиных копыт, бегущих по

торцовой мостовой? А тяжелый шаг битюгов, топающих по булыжнику, высекая искры из-под подков, разве не становится мягче, легче, переходя на эту благодатную почву? Неуклюжие колеса ломовых телег тарахтят приглушенно, лошади вскидывают понурые головы, словно радуясь передышке в трудном пути.

Среди многих забытых, неповторимых подробностей нашего города ушла в прошлое и память о торцовой мостовой. А она стоит того, чтобы ее вспомнить.

Наводнение с какой-то особенной злостью разделялось с нею. Груды смытых торцов... Местами, где они упорно прижимались друг к другу, — целые вздыбленные кручи мокрых деревяшек, превратившихся в единую плоть. На Невском, там тогда еще ходили трамваи, кое-где торчали искореженные рельсы. Даже сталь не устояла под мощным стихийным наступлением. В опустевших кюветах, где тесными рядами, плотно пригнанные, сидели аккуратно выточенные шестиугольники, — блстели лужи, задержавшиеся со вчерашнего дня. Самые неожиданные предметы валялись повсюду: сорванные вывески, эмалированные чайники, рамки со смытыми фотографиями... Не говоря уже об останках различной мебели, массе битого стекла, расколотых черепках фарфоровой и глиняной утвари.

Как всегда, самоотверженные ленинградцы, когда город нуждается в их помощи, с тряпками, лопатами, граблями вышли на улицы справляться с последствиями вчерашних разрушений. Срочно надо было избавиться от дохлых крыс, заполнявших некоторые дворы и переулки. Выкачать воду из подвалов, привести в порядок мостовые, восстановить уличное движение...

Когда, проходя по набережной, натыкаешься на буро-красную полосу, проведенную масляной краской, указывающую уровень наводнения 1924 года, недоверчиво спрашиваешь себя: как могло это быть? Хотя сама была самым непосредственным свидетелем!

УЛИЦА РОССИ, 2

Когда заглядываешь в глубину прошедших лет, все видишь как бы сквозь лупу: чем дальше, тем яснее. Отчетливо проступают черты характера. Ясно слышишь когда-то звучавшую музыку, ощущаешь запахи тех времен. Ничто так не вызывает ассоциации, как запахи и звуки. Запахнет свежесмолотым кофе — вижу старую няню на кухонном табурете с допотопной кофейной мельницей, зажатой между колен. Или дедушку в зеленой феске с красной кисточкой (чтобы не зябла голова), в валенках, вертящего ручку длинного медного цилиндрика, — турецкая мельница для особо тонкого помола. А грохот колес по где-то еще сохранившейся булыжной мостовой вызывает образ здоровенных битюгов в сбруе с медными кружочками и разбитных ломовых извозчиков из впечатлений раннего детства.

Мелькают воспоминания — радостные и горькие, одни задерживаются, другие проплывают не останавливаясь. Вереницей проходят люди — близкие и далекие, встреченные на жизненном пути. Многие давно ушли из жизни, давно позабыты, а иные и вовсе неизвестны. И становится обидно за них, хочется о них рассказать, поблагодарить их за то, что они сумели дать. За то, что несли в себе. Запечатлеть образы, которые с фотографической точностью застряли в памяти, проявленные и отмытые длинными десятилетиями.

Сколько бессонных ночей и кошмарных сновидений предшествуют вступительным экзаменам в театральную школу...

И вот бежишь по улице России, перескакиваешь через несколько ступенек лестницы, поднимаешься на второй этаж. Гул голосов, взволнованные лица, испуганные глаза. Зал, коридор, лестница набиты трясущимися мальчиками и девочками. А там — сцена... Маленькая учебная сцена... Кажется, выйти на нее невозможно — откажут ноги, лопнет сердце. Скорей бы! Нет, надо подождать, пропустить вперед вот эту, потом того и еще кого-нибудь. Какие смельчаки! Что они читают, что говорят? Не видишь. Возвращаются — один за другим. Победа или поражение? Кто-то плачет — от горя или от радости? Вон тот сияет, упоенный собой, уверенный в успехе. Ну как же, как же заставить себя выйти? И вот свершается. Стоишь посредине сцены. Никого. Внизу, перед глазами, зеленый стол, лампа под зеленым абажуром, в ее свете лицо Юрия Михайловича Юрьева, директора школы, председателя приемной комиссии. Ничего не соображая, уставившись в пол, чтобы не видеть этих страшных

глаз, читаешь басню про кота, потом «Принцессу на горошине». Постепенно немного осваиваешься, переходишь к «Графу Нулину». Кажется, голос звучит бодрее: «А что же делает супруга одна в отсутствии супруга?..»

— Довольно! — спокойный, величавый голос Юрьева.

Что теперь? Как теперь? Непонятная сила выносит со сцены, и опять лица... Участливые, тревожные, любопытные. Проталкиваясь через толпу, подходят друзья, пришедшие на экзамен для моральной поддержки. Похлопывают по спине, сочувственно улыбаются.

— Иди домой. Нечего тут торчать. Смешно на что-нибудь надеяться. Ни одного слова не было слышно. И чего ты сюда полезла?

Не уйду. Ни за что. До конца буду сидеть. Услышу приговор своими ушами. Забиваюсь в угол и сижу. Одна. Молча. А голоса гудят. Счастливые и несчастные взлетают и слетают со сцены. Время тянется бесконечно.

И наконец: «Приемная комиссия удаляется на совещание. Списки принятых будут вывешены завтра в десять часов утра. Желающие могут подождать результата обсуждения».

Желающие — почти все. Притихшие, с замученными глазами, стоят, бродят, курят, пока в дыму не очень умелых, не очень опытных курильщиков не появляется Рафаил Матвеевич — заведующий учебной частью драматической студии при Государственном академическом театре драмы — гроза студийцев по прозвищу Рафмат.

— Сейчас будут объявлены фамилии. Названных лиц прошу выйти вперед и согласно моему указанию встать с правой и с левой стороны. Муравский — налево, Савостьянов, Сударушкин — налево, Зуховицкий — направо, Розеноер — налево, Базыкина — направо...

Как это понять? Чего хотеть? Чему радоваться, чему огорчаться?

И вот из огромной массы экзаменовавшихся по левую и по правую руку Рафаила Матвеевича выстраиваются по два десятка с каждой стороны дрожащих и ничего не понимающих девочек и мальчиков.

— Находящиеся с правой стороны, с фамилиями от «А» до «И» включительно, приняты на первый курс студии в группу «А». Стоящие слева, с фамилиями на буквы от «К» до «Я» — в группу «Б».

Очутившись с левой стороны, в радостном безумии впираюсь пальцами в руку рядом стоящей девушки. Завтра она мне покажет здоровенный синяк — следствие моего безудержного восторга.

Группа «Б» вверяется руководству Елены Владимировны Елагиной. Фамилия на букву «Ю» — счастливый лотерейный билет на первых шагах театрального пути.

Всякая молодежь отрицает старое и стремится к новому. Классическая школа Ю. М. Юрьева была нам чужда и непонятна. Мы позволяли себе даже подсмеиваться над ним и только позже оценили все значение великолепно отработанного голосового аппарата. Однако на уроках его была железная дисциплина, и мы с полной отдачей отбарабанивали гекзаметр: «Он перед грудью уставил свой щит велелепный, Дивно украшенный...» — тщательно соблюдая повышения и понижения, несмотря на кажущуюся их нелепость.

Елена Владимировна Елагина, верная и ревностная ученица Вахтангова, обладала необычайным педагогическим даром. Уважая разумные традиции, она деликатно отметала отжившие и ненужные. Беря за основу систему Станиславского, она не следовала ей слепо (как поступают бесчисленные толкователи, а иногда и искажители этой системы и по сей день). Прodelывая весь курс установленных упражнений, мы не действовали механически. Она внушила нам святую веру в необходимость этих занятий. Добиваясь от нас правдивости и искренности, она почти никогда не повторяла знаменитого «не верю!». Все первое полугодие она размягчала, раскрепощала, освобождала нас. Снимала все наносное — подражательство, кривлянье, изображение, наигрыш. Старалась выявить нашу подлинную, личную суть, освободить и раскрыть каждую индивидуальность.

Она дружила с нами, она болела за нас, жила нашими интересами. Самое страшное для нее было, пусть незначительное даже, проявление цинизма. Она физически краснела и бледнела, сталкиваясь с ним. Ничто другое не вызывало в ней такого гнева. И она сумела нас уберечь от цинизма, а у задетых этой вредоносной заразой начисто вытравила разрушительный микроб.

Гладко причесанная, с большим узлом темных волос, в светло-коричневом клетчатом платье с белоснежным воротником — вот такой появилась она перед нами в первый раз и такой запомнилась на всю жизнь.

Неторопливо, бережно и нежно она посвящала нас в первые тайны театрального действия. Помню ощущение какого-то сумасшедшего, оглушительного счастья, когда впервые удалось почувствовать себя в так называемом «кругу».

Душевная чистота, хороший вкус, одержимость своей профессией — вот основное, что она воспитывала в нас.

Улица Росси, 2. Всего в течение двух лет мы бегали по этой

улице. Что такое два года в длинной, полной самых разнообразных событий жизни? Оказывается, очень много. Какие это были важные и огромные два года!

Недаром один наш сокурсник, волей трагических обстоятельств отошедший от театра, считает, что только эти два года он и жил настоящей жизнью. Находясь вдали от Ленинграда, просил прислать фотографию нашего милого студийного подъезда на улице Росси, 2.

Прежде всего мы были заняты делом. Нас готовили к нашей профессии. Если талант привить нельзя, то ремеслу обучить можно. Чтобы овладеть ремеслом, надо добиться податливости материала. Нас месили, лепили, подтачивали, чтобы физически и духовно подготовить к будущему нашему труду.

То два, то четыре часа ежедневных занятий движением. Три раза в неделю обязательные уроки постановки голоса с дополнительными каждый день, по желанию или необходимости. Техника речи. Об уроках драмы и говорить нечего — они занимали все возможное время в течение суток, нередко захватывая и ночь.

Особое внимание уделялось осанке, походке, рукам, умению носить костюм. Мальчиков учили ходить во фраке, что оказалось не так просто, было даже специальное выражение «фрачные руки».

Так называемые «фрачные пьесы» шли тогда редко, чаще приходилось надевать тужурки и толстовки, но считалось, что актер должен уметь все.

Кроме-того, мы обязаны были выходить в массовках на сцену театра и часто вызывались на репетиции. Незыблемы были только утренние занятия движением. Остальные уроки назначались ученику индивидуально, в зависимости от занятости в театре.

Дорогие, замечательные наши учителя! Когда думаешь о них, все время хочется повторять: «Спасибо, спасибо, спасибо!»

Василий Яковлевич Андреев — фехтование. Небольшого роста, стройный, мускулистый. От острого взгляда его темных глаз под чуть вьющимися волосами цвета соли с перцем не ускользал ни один неправильный «выпад», ни малейшая неверность позы. Подойдет, поправит, заставит повторять, пока не добьется нужного результата.

Александр Викторович Ширяев, невысокий, слегка коренастый, с крупной седой головой... С какой лихостью летал он в первой паре в мазурке, с каким изяществом приседал в полонезе. И требовал, требовал от нас, не прощая ничего.

Нина Валентиновна Романова — ритмика, пластика. Наши спины, колени, локти, руки — всем обязаны ей.

Константин Николаевич Берляндт! Сколько часов хором и по отдельности твердили мы на его уроках: «де-те-те-де, де-те-те-де» или «пе-те-ка, пе-те-ка».

А Наталья Эрнестовна Радлова! Ей одной я обязана тем, что какой-то прорезался у меня голос. Когда я первый раз пришла к ней на урок, она, прослушав прочитанное мной стихотворение, положила руку мне на диафрагму и попросила несколько раз громко сказать «да». Опять покачала головой. Еще раз послушала стихотворение и сказала:

— Ничего не смогу с вами сделать. Никакого металла. Зажатый горловой звук. Низы отсутствуют. Очень плохие голосовые данные. Заниматься с вами бесполезно. Напрасная трата времени.

Что происходит с человеком, когда он слышит такое?

Постояв соляным столбом, я заревела и, давась от рыданий, бормотала:

— Пожалуйста... попробуйте... я все буду... только попробуйте... умоляю...

И она попробовала. С каким терпением и осторожностью она преодолевала природную зажатость голоса и еще двойную зажатость от дикого страха, что ничего не получится. Не давая сразу большой нагрузки на неразвитые связки, она постепенно перешла на ежедневные занятия. Специально приходила на полчаса раньше или задерживалась позднее.

Заметив первые проблески успеха, дотошно возилась со мной, медленно двигаясь вперед, боясь повредить с таким трудом вылупляющийся звук.

Героические усилия Натальи Эрнестовны не пропали даром. Через полгода, на первом зачете по драме, голос звучал, его было слышно. Наталья Эрнестовна сияла, а я прыгала чуть не до потолка.

Правда, испытания мои этим не кончились. Неожиданные огорчения подстерегали меня на уроках грима, которые давал симпатичнейший старичок Далькевич. Он казался нам таким старым, что можно было подумать, будто он обучал еще самого Владимира Николаевича Давыдова. Современные веяния его не коснулись. Точка зрения на лицо актера, установленная раз навсегда, была непоколебима.

При первом знакомстве он ставил, по очереди, каждого ученика в дальний угол класса и долго, внимательно разглядывал его. Затем сажал перед зеркалом, вручал растушевки и кисточки, показывал и объяснял. Подход был строго индивидуальный.

Первый грим, которому мы должны были научиться, назывался «молодой, красивый». Какие толстенные слои краски

намазывали на себя актеры прошлых лет! Обывательский вопрос «не устает ли у вас лицо от грима и мимики» был, очевидно, вполне уместен.

Когда очередь дошла до меня, глаза старого учителя задержались на мне дольше обычного. Рассмотрев меня издали, он подошел ближе, снова отошел и печально сказал:

— У вас все лицо наоборот. Ничего не получится.

Опять беда. Опять комок в горле, отчаяние, мольбы. Бедный добряк сам расстроился.

— Ну, попытаемся, попытаемся... — не очень обнадеживающе утешал он.

Следующий урок был посвящен целиком моему злосчастному лицу. Раздав всем нормальным лицам самостоятельные задания, старик посадил меня перед собой и начал обрабатывать.

— Лицо актрисы должно иметь ровную, яйцевидную форму. Наружные уголки глаз должны быть опущены, а не вздернуты, как у китайца. Скулы и щеки необходимо затушевать. Нависшие надбровные дуги закрывают глаза, затемняйте их. Глаза увеличивайте белилами и темной подводкой. Курносый нос недопустим. Выпрямляем его при помощи гумоза, придаем классическую форму. Подчеркиваем прямоу носа светлой линией посередине, бока и крылья покрываем красноватой тенью... Та-ак... Отойдите, пожалуйста, к той стене... Ну, что ж... Пожалуй... Я вас возродил.

Никогда не забуду этой его фразы. Сперва хотелось броситься к нему на шею и визжать от радости. Сдержав неуместный порыв, кидаюсь к зеркалу.

Вижу синие, как будто давно небритые щеки, крупное сооружение посреди лица, глаза, затерянные в серых, красных, коричневых разводах... Понимаю. Конечно, понимаю: работа очень тонкая. Никаких грубых линий — «железных дорог» (как тогда говорили), тона переходят от одного к другому без видимых границ, мягко и неуловимо. Видна искусная рука мастера.

И потому, с трудом сдержав разом подступившие слезы, твержу про себя: «Так надо... Он знает... Свет рамп, оркестровая яма, четвертый ярус... Так надо...»

А Далькевич доволен. От души рад за меня добрый старик.. Эксперимент удался.

— Прошу, товарищи! Обратите внимание, узнаете вы ее?

Класс молчал. Наверно, от восхищения. Ведь узнать, пожалуй, действительно было трудно.

На следующий день в театре шел «Идеальный муж». Мы в качестве гостей появлялись на сцене в вечерних платьях. Я

решила во что бы то ни стало выйти на сцену возрожденной, с тайной надеждой поразить Ю. М. Юрьева, игравшего центральную роль. Он ценил у актрис хорошие голоса и правильные черты лица. Я не привлекала его внимания и панически его боялась.

Придя на спектакль за два часа до начала, уселась за грим. Справиться с гумозом оказалось не так-то просто. Вместо носа получались какие-то бесформенные нашлепки, грубые, неаккуратные. Прозвенел первый звонок, потом второй, времени оставалось очень мало. Боясь опоздать, я наспех покрыла все лицо, вместе с тем, что должно было считаться носом, толстым слоем бело-розового тона, подвела глаза, затемнила щеки, подмазала губы и, взглянув на себя издали, нашла, что не так уж все плохо. Третий звонок заставил меня опрометью пуститься вниз с пятого этажа, где помещались ученические уборные.

После первого прохода гостей, ожидая за кулисами следующего выхода, мои однокашники приняли живейшее участие в исправлении моего носа. Каждый считал своим долгом примять, поджать, подтянуть — словом, довести до совершенства. Вполне доверяя опыту старших (среди них находились и второкурсники), обмахиваясь веером из страусовых перьев, с полным ощущением своей неотразимости, я вышла на сцену. Прямо передо мной, в безукоризненном фраке, стоял Ю. М. Юрьев. Скользя рассеянным взглядом по моему лицу, он вдруг снова пристально посмотрел на меня.

— Кто эта ученица с таким странным носом? — не шевеля губами, штатским голосом спросил он у близстоявшего студента.

Ответа я не слышала — надо было направляться к выходу и, раскланявшись с артисткой Железновой, игравшей Гертруду, хозяйку дома, уйти со сцены. Каждому из проходивших мимо гостей она говорила какую-нибудь любезность.

— Ну и нос! — с обворожительной улыбкой сказала она мне.

После старательных исправлений незадачливого носа моими товарищами, чьи руки, вероятно, не блистали чистотой, на бело-розовом фоне лица он казался почти черным.

В роли гостыи в спектакле «Идеальный муж» я появилась снова не скоро.

Сколько слез было пролито по этому поводу на груди у нашей «нянечки», как мы называли костюмерш, обслуживавших верхние этажи уборных, где гримировались студийцы. Не могу не упомянуть добрым словом этих скромных, внимательных, ласковых тружениц. Большей частью пожилые, они относились к нам, как к своим детям. Подчас и журили за дело, но уж на сцену выпускали в образцовом порядке. Все было выутюжено, вычищено, ни одной мятой оборки, ни одной оборванной

пуговицы. Дисциплина в этом отношении стояла очень высоко. От зоркого глаза Георгия Семеновича Денисова — заведующего труппой — не ускользал ни малейший изъяз.

В «Маскараде», например, в первой картине, на самом маскараде, несмотря на полумрак на сцене, несмотря на длинные, до полу юбки и домино, девушки были обязаны надевать белые чулки. Казалось, кто заметит это в такой толчее? Но Георгий Семенович замечал. Объявлялись выговоры, снимали с ролей. А занятостью в спектаклях театра студийцы очень дорожили. Во-первых, это считалось честью, во-вторых, за каждый выход платили по 50 копеек, что было очень существенно в наших скромных бюджетах. Бывало, что мы ворчали и возмущались, но вынуждены были подчиняться. В нас воспитывали уважение к профессии даже в мелочах, дисциплину, которая в театре не менее важна, чем в любом ответственном предприятии. Поэтому так странно и страшно бывает наблюдать неожиданные проявления распущенности у театральной молодежи. Выйти, например, на сцену в роли восьмиклассника с пышными усами, просто прикрытыми рукой или тщательно забинтованными, — такое и придумать-то было невозможно.

И мы вовсе не были запуганы, зажаты. И шутили, шалили, и валяли дурака, как это свойственно молодежи, но все это носило, я бы сказала, творческий характер.

Особенно мы старались не только на уроках, но где и когда возможно, делать этюды на так называемый «актерский серьез». Цель этих этюдов — научиться верить в предлагаемые обстоятельства, чувствовать себя в них свободно, сохранять полную серьезность, как бы смешно и нелепо ни казалось задание.

Тогда еще по дворам ходили бродячие скрипачи, певицы с хриплыми, пропитыми голосами, исполнявшие душераздирающие произведения вроде: «Ах, зачем эта ночь так была хороша...», или:

Ах вы, девчоночки, закройте ваши глазоньки
И не летите вы, как бабочки на свет...
Пред вами женщина, больная и несчастная,
А мне, девчоночки, всего лишь двадцать лет...

В окнах открывались форточки, сердобольные хозяйки, тронутые щемящей темой, бросали артистам завернутые в бумажку медяки, иногда бутерброды или просто кусочки хлеба.

Ходили они поодиночке и парами, а бывало, и в сопровождении девочки или мальчика, в чьи обязанности входило собирать «урожай» брошенных сверточков.

Мы отправились вчетвером. Вошли во двор, «профессиональным» взглядом окинули окна, встали в позу и затараторили упражнения по технике речи: «Де-те-те-де», «От топота копыт...», «На дворе трава, на траве дрова...» и т. д.

К нашему удивлению, в открытые форточки тоже полетели пакетики. Вдохновленные, мы посетили таким образом три или четыре двора. Правда, в одном из них нас сурово обругал дворник и беззастенчиво выставил вон, но это не отразилось на нашем прекрасном настроении. Опыт удался. Мы ни разу не засмеялись, урок выполнили безупречно.

И после выхода из студии увлечение подобными этюдами и упражнениями не покидало нас долгое время. Мастером на такие вещи был замечательный человек, актер Театра комедии, талантливый сатирик — Алексей Михайлович Бонди. Его перу принадлежал остроумнейший текст спектакля нашего театра «Лев Гурыч Синичкин», написанный им на основе старинного водевиля, Изобретательность и выдумки его были неистощимы.

Однажды мы зашли с ним в комиссионный магазин. Он — седой, представительный, очень почтенной наружности гражданин, я — тоже вполне приличная взрослая особа.

— Будьте любезны, скажите, вы принимаете вещи на комиссию? — спрашивает Алексей Михайлович.

— Да, принимаем.

— Извините, а расплачиваетесь вы сразу или когда продадите вещь?

— В зависимости от товара. Принесите, и мы определим.

— Товар у нас с собой, — очень серьезно говорит Алексей Михайлович. Расстегивает шубу, долго роется во внутренних карманах. На лице появляется выражение тревоги.

— Боже мой, неужели потерял? — бормочет он.

Продавец и присутствующие покупатели сочувственно смотрят на него.

— Нашел, слава богу! — восклицает он, бережно вынимая из бокового кармана небольшой бумажный мешочек. — Вот, оцените, пожалуйста.

И он высыпает на прилавок сто граммов только что купленных в булочной сухеш.

Пауза.

Опасливо поглядывая на нас, продавец отвечает очень вежливо и особенно доброжелательно (может быть, сумасшедшие?):

— Извините, но мы сушки на комиссию не принимаем.

— Какая жалость! — огорчается Бонди. — А не посоветуете ли вы, куда нам обратиться?

— Боюсь, что нигде у вас не примут, — растерянно отвечает продавец.

— Какая жалость, какая жалость, — повторяет Алексей Михайлович и аккуратно, по одной штучке, складывает сушки обратно в мешочек.

Провожаемые продавцами и покупателями с вытаращенными глазами и разинутыми ртами, мы, сокрушенные неудачей, покидаем магазин.

И только на улице, отойдя от дверей, хохочем, хохочем, чуть не падая в снег.

Как-то на уроке Елагиной одна из лучших учениц решила изобразить пьяную. Она вошла почему-то с грязным ведром, спотыкаясь, хихикала, несла какую-то чушь так убедительно, что даже мы все испуганно примолкли. Елена Владимировна пыталась утихомирить ее, но та так увлеклась, что не могла остановиться. Кончилось тем, что ее выгнали из класса и староста должен был подать рапорт Рафмату.

С трудом удалось ей потом доказать свою полную трезвую невиновность. Но почему-то, несмотря на такое блестящее исполнение, за этот этюд она высокой оценки не получила.

Строгая дисциплина соблюдалась как в театре, так и в студии. Опоздавшие на уроки не допускались, считались прогульщиками.

На всех уроках по движению мы занимались в специальных черных сатиновых хитончиках типа купальных костюмов, а мальчики просто в трусах. Раздевалки находились в глубине коридора, и двери, ведущие из него в класс, запирались на ключ перед началом урока. Не успевшие переодеться вовремя оставались за бортом.

Однажды мою подругу Лидию Яковлеву и меня постигла такая участь. Дверь захлопнулась у нас перед носом, и тут уж никакие просьбы не помогали. Пропуск урока грозил неприятными последствиями, и мы, недолго думая, решили бежать кругом. Была зима. Стояли морозные дни. Пробежать надо было по двору до ворот и от ворот, обратно по улице Росси, до подъезда.

Бесстрашно помчались мы во весь дух, не обращая внимания на удивленных прохожих. К моему ужасу, навстречу нам попался один мамин знакомый, как вкопанный замерший на месте. Пронесясь мимо него, мы взлетели по лестнице и, как нам казалось, незаметно приоткрыв дверь, заняли свои места в кругу движущихся учеников. Милая Нина Валентиновна, во всяком случае, сохраняла непроницаемый вид.

В то время (самый конец двадцатых годов) в городе ходили

усиленные слухи, что какие-то борцы с предрассудками основали лигу «Долой стыд!». Будто бы они появлялись на улицах и в общественных местах в натуральном виде, с широкой лентой через плечо, на которой крупными печатными буквами красовался их лозунг.

Была ли такая организация действительно или это просто были досужие разговоры — не знаю.

Через несколько дней после нашего пробега маму навестил тот самый знакомый, которого мы так поразили своим видом. Сидя за чайным столом, он рассказал:

— Наконец-то мне удалось воочию увидеть эту лигу «Долой стыд!». И, представьте себе, на улице Росси! Никак не думал, что она занимается своей пропагандой и в двадцатиградусный мороз!

Я покраснела, как свекла, и с мольбой уставилась на него. Он пожалел мою мать и меня не выдал.

Проходив все свое отрочество в платьях из полосатых мебельных чехлов, я так и не проявила тяги к роскошным туалетам, хотя еще не кончился нэп и соблазнов оставалось более чем достаточно. То ли потому, что все было дорого и поэтому совершенно недоступно, но не помню, чтобы мы останавливались у витрин шикарных магазинов. У кондитерских — да, не скрою, но одежда не вызывала в нас острых волнений. Правда, появление нового костюма или даже части его вырастало в целое событие, но, скорее, для наших родных, чем для нас самих.

Помню, сколько было волнений в доме, когда мне сшили новую юбку. Тогда носили без шва, одна пола далеко находила на другую — последний крик моды. Не без удовольствия, правда, нарядившись в обновку, я помчалась в один из Домов культуры. Шел выездной спектакль «Рельсы гудят», я выходила в первом акте. После спектакля торопилась в гости, где должен был быть поэт Михаил Кузмин. С детства приверженная к поэзии, я очень любила «Александрийские песни» и, конечно, страшно хотела его увидеть. Быстро разгримировавшись, помчалась на трамвайную остановку и, вскакивая в вагон, порадовалась удобству современной моды. Юбка без шва ничуть не стесняла движений, давая ногам полную свободу. Хозяйка дома сама открыла мне дверь. Все гости уже собрались, и тут, скинув пальто, я увидела, что в спешке забыла надеть юбку! На счастье, в передней никого, кроме хозяйки, не было. В ужасе я хотела бежать обратно, но она удержала меня, уговорив одеться во что-нибудь из ее вещей. Первое смущение быстро улетучилось, и я и думать забыла о своей беспечности.

И только назавтра я поняла недопустимость своего

легкомыслия: при очень скромных средствах маме трудно было шить мне что-нибудь новое. Но больше всех сокрушалась старенькая няня. Она появилась в нашей семье, когда мама была еще совсем маленькая. Надев черную кружевную косынку, в которой она в торжественные дни ходила в церковь, старушка отправилась в Дом культуры на поиски юбки, которой, конечно, и след простыл. Если бы не огорчения няни, меня бы эта пропажа ничуть не тронула. Но дома история с юбкой жила очень долго и рассказывалась с постоянным осуждением моей беззаботности.

Одержимые театральными мечтами, поглощенные студийными занятиями, мы далеко не были лишены критических настроений. Особенно в первый год, когда театром и школой руководил Ю. М. Юрьев. Когда мы были на втором курсе, бразды правления перешли к Н. В. Петрову и в театре повеяло свежим ветром. И все-таки нам он казался устаревшим, затхлым, мы не стремились по окончании студии попасть в его труппу и мечтали о создании своего, студийного, молодого театра.

Но были у нас и свои кумиры. Мы преклонялись перед Илларионом Николаевичем Певцовым. Когда он играл, студийная ложа была битком набита. Обожали Николая Константиновича Симонова. Все девушки были чуть-чуть влюблены в Леонида Сергеевича Вивьена, а очаровательной Евгении Михайловне Вольф-Израэль многие пытались подражать. И Екатерина Павловна Корчагина-Александровская, и Наталья Сергеевна Рашевская, и острая, обаятельная Елена Петровна Карякина вызывали в нас восхищение и уважение. А кроме того, мы внушали себе, что без старого не бывает нового, и учились уважать и то, что не совсем нравилось.

Конечно, праздниками были для нас спектакли с приезжими гастролерами. Кроме ученической ложи, мы заполняли все допустимые проходы и ступеньки верхних ярусов, канючили и умоляли контролеров не выгонять нас. Кстати, с контролерами, особенно верхних этажей, мы дружили. Преимущественно это были старички, служившие еще в императорских театрах. Пережившие на своем веку сонмы актеров, они были по-настоящему преданы театру и отлично разбирались в сценическом искусстве. К нам они с интересом приглядывались, следили за нашим ростом, рады были помочь, чем могли. С нежностью вспоминаю одного такого старичка: ему можно было дать лет сто. Когда я впервые сыграла на этой священной для него сцене большую роль, он принес мне несколько цветочков, завернутых в старинную «шелковую бумагу» (такой бумаги я никогда и нигде больше не видела).

Мы смотрели и Степана Кузнецова, и Ваграма Папазяна. Видели в «Идеальном муже» Розенель, слышали блестящее вступительное слово А. В. Луначарского.

После посещения гостей мы обсуждали их спектакли. Спорили и ругались, нападая и защищая с пеной у рта.

Но самыми необыкновенными, потрясшими нас до самых глубин души были гастролы Михаила Александровича Чехова.

Я видела его и раньше, когда училась в восьмом или в девятом классе. В качестве новогоднего подарка мне была предоставлена во время каникул поездка в Москву. Я мечтала побывать в московских театрах.

Помню, как лежала я на третьей полке жесткого вагона в только что купленных мне «мальчиковых» ботинках. Подметки были твердые, негибачаемые, причиняли жуткую боль. Мама не позволяла снимать их в вагоне даже на ночь, чтобы не украли. Я не спала от боли в сведенных ступнях, утешая себя, что к счастью приходят через страдание. И как я была вознаграждена!

Московские театры! Вахтанговский, 2-й МХАТ, театр Мейерхольда, Камерный, Художественный... Они поразили меня своим разнообразием, ярко выраженным лицом. Но ни с кем не сравнимым, удивительным, неожиданным был Михаил Чехов в роли Аблеухова в «Петербурге» Андрея Белого и в роли Муромского в «Деле» Сухово-Кобылина.

Он произвел такое впечатление, так врезался в память, что я и сейчас вижу его. Вижу лысую голову с оттопыренными ушами, слышу заикающуюся елейную интонацию: «Отчего у девушек пятки розовые, а у меня желтые...» Вижу седенькую бородку Муромского, брюки с лампасами на согнутых, слабеньких ножках, слышу взрыв его возмущения...

И вот Михаил Чехов приезжает к нам! Будет играть в нашем театре! Мы сможем каждый вечер смотреть на него — на принца Гамлета, на бедного короля Эрика XIV!

Это были последние гастролы Чехова перед отъездом за границу. Зал гремел, стонал. На сцену летел ворох цветов. Зрители не отпускали его. Он выходил на поклон, светлые глаза его сияли, он кланялся, кланялся без конца со счастливой застенчивой улыбкой.

Во время войны, в 1943 году, я сидела в кинозале на просмотре советского фильма «Русские люди» в Лос-Анджелесе. Рядом со мной у прохода оставалось пустое место. Во время сеанса, в темноте, кто-то сел на него. Вдали от дома острее и добрее воспринимаешь произведения своих соотечественников. Я с большим волнением смотрела картину.

Мой сосед, очевидно, был сильно простужен. Он все время сморкался, сдавленный кашель его походил на всхлипывания. «Бедный, как же его угораздило простудиться в такую жару», — думала я.

Фильм кончился. Дали свет в зал. Я взглянула на своего соседа и обомлела. Рядом со мной сидел Михаил Александрович Чехов.

Он поспешно вытер платком залитое слезами лицо и, ни на кого не глядя, медленно побрел к выходу. Придя в себя после охватившего меня столбняка, я кинулась за ним.

— Михаил Александрович! Я из Советского Союза. Позвольте мне сказать вам, как вас помнят там, как вас любят!

— Помнят меня?.. — он повторил. — Ме-ня? Неужели помнят?..

Мне повезло. Потом я неоднократно встречалась с ним.

На вечере, посвященном русско-американской дружбе, в пользу второго фронта, он играл рассказ Антона Павловича Чехова «Торжество победителя».

Что я могу сказать? Да что стоят слова об искусстве — надо видеть его, слышать и ощущать. Это было изумительно. Мне казалось, что он стал еще значительнее, еще глубже, тоньше. Голос его утратил привычную сипоту: его там вылечили. Но разве в голосе дело? В том, как он кукарекал, прыгал на одной ноге вокруг стола, исполняя прекрасный рассказ Антона Павловича, была такая трагедия! Трагедия гениального русского актера.

Я пошла за кулисы выразить ему свое восхищение. Он ждал меня у дверей. Маленький, худенький, какой-то весь сжавшийся. Смущенный — он!!!

— Ужасно, что вы были в зале, — сказал он. — Я так нажимал, так наигрывал... совсем разучился.

Я только обняла его и поцеловала. Сказать ничего не могла. Боялась, что разревусь.

И это тот Михаил Чехов, который со счастливой улыбкой, под градом цветов, на сцене бывшего Александринского театра раскланивался перед восторженной публикой!

Как-то он сказал мне:

— Знаете, я сейчас переживаю самую огромную, самую страстную и самую безнадежную любовь своей жизни... я влюблен в русский театр!

И еще:

— Кажется, когда-то был такой актер — Михаил Чехов? Неужели это был я?

Я присутствовала на съемках в Голливуде, где люди, недостойные его мизинца, обращались с ним так, что говорить об

этом нет сил.

Кроме Елены Владимировны Елагиной, целиком владевшей нами на первом курсе, на втором с нами занимались Илларион Николаевич Певцов и Константин Павлович Хохлов.

К сожалению, мои «отрывки» Иллариону Николаевичу не попали, я бывала на его занятиях довольно редко. На первом уроке он начал с лекции по астрономии.

— Я не зря вам об этом говорю, — закончил он. — Хочу, чтобы вы всегда помнили: каждый должен знать свое место под солнцем. Не лезть выше, не скатываться ниже, а знать именно свое место под солнцем.

Занимался он большей частью поздними вечерами, после спектакля, задерживаясь иногда чуть ли не до утра. Он удивительно мог заинтересовать и увлечь учеников, по окончании урока они шли его провожать, и он рассказывал им про звезды.

Константина Павловича Хохлова мы называли «генералом», побаивались немного, хотя он был человек очень добрый и строгость на себя напускал. Когда он входил, все должны были быть на местах. Обычно мы посылали кого-нибудь дежурить, и, когда Константин Павлович, запорошенный снежком, появлялся в маленькой передней студии, наш гонец стремглав бежал в класс, собирая студийцев, занятых какими-нибудь другими делами.

— Идет! — театральным шепотом сипел он, и все, как по команде, занимали свои места.

Крупный, всегда элегантный, с высоко поднятой седой головой, он медленно шел по пустому залу и коридору. Походка у него была очень красивая. Величественная, неторопливая и удивительно эластичная. Я всегда думала, что вот так, наверно, ходит Станиславский.

На площадку выходили занятые в сегодняшнем отрывке и без лишних слов начинали действовать. Константин Павлович внимательно смотрел несколько минут, затем вынимал из кармана газету и, широко распахнув ее, закрывшись от всего класса, углублялся в чтение. Вот тут ученики, призвав все свое мужество, ни в коем случае не должны были останавливаться. Через некоторое время над газетой появлялись поднятые брови Константина Павловича, затем все лицо, причем рот его как бы беззвучно произносил букву «о». Потом так же беззвучно и протяжно появлялась на губах буква «у», и заканчивалось все буквой «а». И вот так, открыв рот на этой букве, он досматривал до конца. Тут из кармана мог появиться апельсин и полететь в сторону удачливого исполнителя. Но все это в том случае, если отрывок захватывал его. Если же он был недоволен, то так и

сидел все время, закрывшись газетой. Причем ничего не пропускал, все замечал и по окончании действия разделял участников на все корки. Он был злейшим врагом холодности и равнодушия на сцене.

— Вы непрерывно должны быть увлечены тем, что вы делаете. Если вам на секунду станет неинтересно или скучно, мне невыносимо будет смотреть на вас.

Существования на сцене «вполноги» он категорически не признавал и безжалостно выгонял с площадки. Требуя полной отдачи от нас, он и себя не щадил. Уроки его никогда не лимитировались временем и так же, как у Иллариона Николаевича, часто затягивались до поздней ночи.

На втором курсе появились у нас еще два предмета — «сценическое движение», которое вел известный режиссер, ученик и соратник Мейерхольда Владимир Николаевич Соловьев, и «мастерство актера», которым занимался главный режиссер театра и сменивший Юрьева директор студии Николай Васильевич Петров.

Владимир Николаевич Соловьев учил нас располагать свое тело в сценическом пространстве. Он задавал нам тематические этюды: а как тот или иной персонаж должен двигаться в тех или иных предлагаемых обстоятельствах? Раздвинув руки, согнутые в локтях, высоко поднимая локти (в пальцах обязательно зажата папироса), сильно сутулясь, широко шагая по классу, он походил на птицу с подвязанными крыльями. Казалось, распрями он эти крылья, взлетит под потолок и будет парить над нами, посыпая табачным пеплом. Увлечшись, он мог сунуть в карман горящую папиросу, карман тлел и дымился, он не замечал этого, и только наш крик: «Владимир Николаевич, вы горите!» — заставлял его спохватиться.

У Соловьева была интересная манера речи. Главным образом проявлялась она тогда, когда он старался быть особенно убедительным. Тут слово могло разлетаться на части, не считаясь ни с какими правилами.

Разбирая Гамлета, помахивая локтями, он говорил: «Так вот, эта самая Гертруда баш — понимаете ли — маков не износила...», и это «понимаете ли», вставленное между двумя слогами, придавало особую выразительность.

Однажды на уроке он вдохновенно объяснял ученику:

— Этот стол будет изображать гору... Вы дикарь... — Локти взлетели вверх, седоватые брови удивленно приподнялись. — Вы подползаете к столу с обратной стороны... Мы вас не видим... И вдруг из-за горы появляется... эта самая штука...

— Какая штука, Владимир Николаевич?

— Как какая? — В глазах возмущение непонятливостью. — Ваше ли — понимаете ли — цо!

Иногда он вперялся в ученика долгим внимательным взглядом, Неприглаженные брови недоуменно лезли вверх, будто он удивлялся собственным мыслям. После длинной паузы задумчиво произносил: «А может быть, у вас и получится...» Таинственный смысл этой фразы навсегда остался неразгаданным.

Кажущаяся неряшливость ничуть не роняла его в наших глазах, а сероватая щетинка подбородка и щек (не всегда успевал побриться) нисколько не портила его симпатичного лица.

Николай Васильевич Петров, стремительный, легкий, прилетал на урок, присаживался на край стола, закинув ногу за ногу. Чуть заметное веянье французского «шипра» доносилось до наших ноздрей. Живой, остроумный, посмеиваясь коротким смешком, он будоражил наше воображение, говоря о ролях на трех ногах, на двух и на одной, в зависимости от активности действующего лица. Занятия его всегда были веселы, время проносилось незаметно. Как будто только что начали, а вот уже и конец, и Николай Васильевич летит дальше. Чуть повернутые внутрь носки идеально начищенных башмаков делали его быструю походку особенно устойчивой, придавая и ей свойственный ему шарм.

— Ну что, дорогой мой, стр-р-рашно? — обняв за плечи, спрашивал он того или иного студийца, как бы намекая: «Подумайте, на что вы пошли, путь не легкий. Есть еще время остановиться».

Заваленный огромным количеством нагрузок: колоссальная машина академического театра, третий курс студии, который он сам вел, «группа 13» — мастерская Николая Васильевича из окончивших ранее учеников. Спектакли здесь, спектакли там... Только что, во время репетиции, сидел в зрительном зале за маленьким столиком, не успеешь оглянуться, как голос его уже раздается чуть ли не с колосников.

Везде он попевал, наводил порядок, находил выходы из сложных положений.

Говоря о студии на улице Росси, 2, нельзя не упомянуть нашу буфетчицу тетю Феню. Расположившись в небольшой проходной комнате за двумя сдвинутыми столами, над которыми возвышался огромный медный самовар, она была нашим добрым гением, опорой и поддержкой в трудную минуту. Ничего особенного у нее не было. Свежие французские булки, разрезанные вдоль, с торчащими тремя кусками чайной колбасы, крепкий свежесваренный чай — вот и все, что она нам

предлагала. Но эти хрустящие булки, эти толстые ломти нежно-розовой колбасы были так соблазнительны, что аппетиты наши, отсутствием которых мы отнюдь не страдали, разыгрывались с двойной силой. Деньги далеко не всегда бренчали в наших карманах, но добрая и заботливая тетя Феня охотно давала в долг. Даже сама уговаривала слишком застенчивых. Вид голодного молодого существа был для нее непереносим.

Экзамены проходили на учебной сцене с очень небольшим зрительным залом. Эту сцену мы делили с балетным училищем.

Кстати, никогда не забуду, как на этой маленькой сцене, на выпускном экзамене класса А. Я. Вагановой блеснули две такие великолепные и такие разные танцовщицы, как Татьяна Вечеслова и Галина Уланова.

Одна — полная буйного огня, бесшабашного задора, как вихрь летавшая по тесной для нее сцене, другая — воплощение нежности, вся из длинных поющих линий совершенного тела.

О них сразу заговорили. Дальнейшая их судьба известна всему свету. А мы гордились, что подвигаемся на той же площадке и с того же планшета, что и они, шагнем в мир.

На экзаменах мы сдавали отрывки из пьес, подготовленные с педагогами, а также и самостоятельные работы. Наш курс даже показал поставленный своими силами целый спектакль, заслуживший одобрение педагогического совета. По программе студии полные спектакли полагались только на третьем курсе. Мы спешили вперед и, кроме того, мечтали совершить тайную гастрольную поездку по маленьким глухим городкам, куда настоящим театрам сложно и невыгодно было забираться. Тайную потому, что нам строжайшим образом было запрещено играть на публике. Это считалось вредным. Неокрепший театральный организм зритель мог повести за собой, могли появиться штампы — главный враг наших педагогов; словом, громада опасностей нависала над неопытным актером. Мы опасностью пренебрегли, срепетировали четыре спектакля, наметили маршрут и на каникулах отправились в путь, веря в успех, не пугаясь трудностей. Сопутствовали нам и удачи, и провалы, бывало и грустно и страшно, но мы были счастливы, что выдержали все до конца. Мы были и актерами и рабочими сцены. Обязанности по «черной работе» четко распределялись и выполнялись безоговорочно. Дисциплина была образцовая, хотя ни Георгий Семенович Денисов, ни Рафмат не следили за нами. Мы сами полностью отвечали за все.

Вернувшись осенью, мы узнали, что студия наша ликвидируется. Все театральное образование сосредоточивается в Институте сценических искусств со статусом высшего учебного

заведения.

С милыми стенами на улице Росси, 2 пришлось распрощаться.

СУНДУК ЗА ШИРМОЙ

Вооруженная письмом Е. В. Елагиной, адресованным Ю. А. Завадскому, отправляюсь в Москву в надежде завершить свое театральное образование в его студии. В Москве у меня никого нет. Мама в Ленинграде работает на экскурсионной базе, и мне разрешают пожить несколько дней в московском отделении, пока не подыщу себе постоянного жилья.

На Мясницкой (так она еще тогда называлась), в довольно большой светлой комнате, уставленной тесными рядами чистеньких кроватей, застланных голубыми пикейными одеялами, оставляю под одной из них свой чемоданчик и выхожу на залитую осенним солнцем московскую улицу. Сливаюсь с толпой торопливых прохожих, иду на Сретенку, где во втором этаже небольшого углового дома помещается студия Завадского.

Конечно, я поторопилась. Занятия начнутся еще не так скоро. Юрий Александрович после отдыха вернется дня через три. Оставляю письмо с просьбой передать в собственные руки, запасаясь телефонами и опять выхожу в огромную, незнакомую, суетливую, заманчивую, страшноватую и загадочную Москву.

О Завадском я слышала очень много восторженных слов, видела его только в роли Калафа в «Турандот». Юрий Александрович принял меня у себя в театре, тоже в одном из переулков на Сретенке, тогда еще в полуподвальном помещении. Он поразил меня не столько своей знаменитой красотой, сколько изысканной элегантностью, какой-то извилистой непринужденностью. Откинувшись на спинку кресла, перевив свои длинные ноги, он постукивал карандашом по столу, время от времени поднося его к пухлым губам, приспособленным в легкую сборочку, которая тут же распускалась в приветливую полуулыбку. Вот он какой — прославленный баловень женщин!

Влюблены в него были все. Все актрисы, ученицы, секретарши, машинистки, уборщицы. Кончался нэп, вводились карточки, но еще доживали свой век коммерческие магазины, где по повышенной цене можно было купить любые деликатесы. Пальто Завадского, висевшее в общей студийной раздевалке, напоминало рождественскую елку — все было увешано маленькими мешочками, сверточками с завтраками. На каждой пуговице болталось по шесть-семь пакетиков, иные припиливались булавками, привязывались веревочками. Все хотели повкуснее угостить своего божественного кумира.

Итак, он постукивал карандашом по столу, внимательно меня

разглядывая. Узнав, что я собираюсь показать отрывок из пьесы «У врат царства» — сцену Элины с Бондезеном, он сказал: «У нас есть отличный Бондезен, он вам подыграет». Взял телефонную трубку и сказал: «Попросите зайти ко мне Славочку».

И вошел милый, славный, очаровательный, длиннющий и худущий Слава Плятт. Всем известный теперь и всеми любимый Ростислав Янович Плятт. Его и тогда уже хорошо знали в Москве — ведущий актер театра Завадского, модного и широко посещаемого.

Разумеется, встреча с таким партнером для показа ввергла меня в смущение, но он был так внимателен, добр и прост, так искренне хотел мне помочь, что я довольно быстро освоилась. Мы сыграли отрывок перед взыскательным взглядом Завадского, и я была благополучно принята на третий — последний курс его студии. Занятия начинались через две недели.

Тем временем у меня возникли некоторые неприятности на экскурсионной базе. Я сильно превысила дозволенный мне срок, а жильем все еще не обзавелась. Знакомых не было. Доски с рукописными объявлениями были переполнены «спросом» — предложений почти не существовало. На целую комнату я замахнуться не могла, мечтала найти какой-нибудь угол. Комната с голубыми кроватями то наполнялась до отказа, то пустовала, Шумные экскурсии веселых девушек сменялись одинокими старушками, а я все жила и жила, приходя в отчаяние от безвыходности своего положения. Заведующая базой, при всем уважении к моей маме, от тонких намеков перешла к прямым просьбам поторопиться, но деться-то было совершенно некуда.

И вот в один из дней затишья на одной из соседних коек появилась сухонькая аккуратненькая старушечка. По-птичьи вертя головкой, она посматривала на меня остренькими глазками. Поинтересовалась, откуда я, есть ли родители, надолго ли в Москве.

— Сама-то я москвичка, — сказала она. — У нас ремонт, заведующая — знакомая, приютила на пару дней, пока постояльцев нет. А то от краски голова очень болит.

Она порадовалась за меня, что я поступила в театральную школу, — «хорошее дело», сказала — и пообещала помочь с жильем.

На следующий день, к вечеру, вернувшись откуда-то, она присела на мою кровать.

— Ну вот, милая, — таинственно зашептала она, — под счастливой звездой вы родились. Условия для вас исключительные. На Бульварном кольце. Отдельная квартира — две комнаты. Живут две сестры — интеллигентные пожилые

дамы. Советую завтра же с утра и отправиться. Договоритесь обо всем и тут же переедете. Вот адрес.

И правда, на одном из центральных бульваров, чуть не в самом сердце Москвы, в невысоком старом доме, в первом этаже, ну, может быть, четыре-пять ступенек вниз, предел моих мечтаний — за скромную плату, в просторной передней, за ширмой, я получаю право спать на большом, прекрасном сундуке!

Дверь из прихожей ведет в проходную комнату (здесь живет младшая сестра, она часто отсутствует — ночует у своего мужа), за ней другая, обставленная уютной мягкой мебелью, — обиталище старшей сестры и главной хозяйки Аделаиды Ивановны. Кухни нет. На специальном столике в первой комнате — две керосинки. Тихо, благочинно, образцовая чистота и порядок. Обе сестры очень симпатичные и гостеприимные. Младшая более миловидная, старшая — высокая, очень худая, даже костлявая. Несколько крупных бородавок на лице, сильно заикается. Каждое первое произнесенное слово начинается у нее с буквы «б». Меня, например, она называла примерно так: «Б-б-б-блеееееночка». Это ничуть не мешало ей быть веселой и приветливой, ко мне она отнеслась очень хорошо. Мне был выдан ключ от квартиры, я могла возвращаться в любое время, днем, бывая дома, могла сидеть и читать, где хочу. Я была счастлива.

Занятия начались. Курс мне понравился — ребята славные, способные. Приятно было обнаружить в их числе землячку, ученицу нашей же ленинградской студии, только с другого курса, приехавшую совершенствоваться в Москву, ныне всем хорошо известную ленинградскую чтицу Тамару Александровну Давыдову.

Особенно мне понравилась стройная, красивая девушка с необычным тонким и нежным лицом, похожая на цветок, на «ирис нежный». Что-то общее было в ней с властительницей наших тогдашних дум, замечательной артисткой кино Гретой Гарбо. Оказалось, что это дочь прекрасной трагической актрисы Елизаветы Тимофеевны Жихаревой и великолепного актера Иллариона Николаевича Певцова — Таня Певцова. Я любовалась ею издали. Она казалась мне недостижимой и недоступной. Руководила нашим курсом актриса и режиссер театра Завадского Ксения Георгиевна Семенова. Она долго и серьезно болела, и заменяла ее Вера Михайловна Балюнас. Очевидно, она была сильно загружена в театре, у нас появлялась не очень часто. Уроки, главным образом, были самостоятельные. Мы собирались без педагога, сами придумывали этюды, сами играли их и сами судили. Мне это было непривычно и странно, но я старалась приспособиться.

Очень радовал меня обретенный мною дом. На сундуке за ширмой жилось мне отлично. Младшая хозяйка появлялась редко, со старшей установились самые лучшие отношения.

И тут она начала активно интересоваться, в какие часы я могу быть дома и когда я ухожу. Практически я приходила только ночевать. Занятия начинались в десять утра, почти каждый вечер мы старались попасть в какой-нибудь театр.

— Б-б-б-бленочка, — говорила она, — вы сегодня днем не зайдете домой?

— Нет, Аделаида Ивановна, а что?

— Нет, нет, ничего, просто так спросила...

Однажды, неожиданно для самой себя, мне пришлось забежать домой за забытой книгой, которую непременно надо было вернуть. Дома никого не было. У меня выдался свободный час, я решила выпить чаю. Вскипятив на керосинке маленький чайничек, я присела к столу в проходной комнате. Через некоторое время в замочной скважине входной двери повернулся ключ. Решив, что это Аделаида Ивановна, я собралась достать вторую чашку для нее, как вдруг в комнату влетел незнакомый человек в желтом кожаном пальто. Не здороваясь, да просто меня не замечая, он пролетел в заднюю комнату, скинул пальто, подскочил к буфету, достал два бокала... Прозвенел резкий звонок в передней, он метнулся к двери, открыл... В квартиру ворвалась дама в шляпе с вуалью... Оба они пронеслись мимо меня, защелкнулась дверь, хлопнула пробка, забулькала струя из бутылки, и все стихло.

Оправившись от обалдения, я вымыла за собой чашку и вышла из дому. По дороге в студию я думала, что бы это могло значить. Я была еще очень юна и наивна. Во всяком случае, я решила ничего не говорить Аделаиде Ивановне, поскольку очутилась дома в неурочное для меня время. Но это были еще только цветочки.

Обычно, возвращаясь вечером после театра, я старалась входить как можно тише, чтобы не разбудить Аделаиду Ивановну. Она ложилась рано и в это время большей частью уже спала. Так и в этот раз я бесшумно отперла дверь, крадучись вошла в свою прихожую и замерла у порога. В квартире было темно. Все двери настежь. Из задней комнаты пробивался слабый, притушенный красноватый свет. Но то, что я услышала, ошеломило меня. Я остолбенела. Это было немыслимо, невероятно. Еще принимая во внимание, что она заика!

Немного овладев собой, я кашлянула, громынула стулом. Никакого впечатления. Повернула выключатель.

И тогда из темноты в ярко освещенную электрическим светом переднюю выкатился маленький, толстый, лысый, как колено, совершенно голый человек. Отвратительный. Мерзкий.

— А мы тебя ждем... — хихикая, бормотал он, — поиграем... повеселимся...

Он пытался схватить меня за руки... У меня в глазах помутилось. Я толкнула его со всей силы в темноту, захлопнула дверь, задвинула задвижку. Меня колотило так, что зубы стучали. Он еще побуянил за дверью, но открыть ее не мог.

Всю ночь, не раздеваясь, я просидела на своем сундуке за ширмой. Едва дождавшись рассвета, побежала в студию. В такой ранний час парадная была на замке. В ожидании шагала туда и сюда по Сретенке, дрожа от мелко морозящего дождя и ночных переживаний. Стрелка на больших уличных часах еле двигалась, но наконец доползла до вожденной черты.

Войдя в класс и увидав в сборе своих товарищей, я не выдержала и разревелась. Всхлипывая, шмыгая носом и заикаясь, рассказала о ночном происшествии. Все молчали. Рассказ произвел впечатление. И вдруг недосыгаемая моя красавица Татьяна Певцова сказала:

— Там вам нельзя оставаться. Я живу одна. У меня большая комната. Живите у меня. Сегодня же мы вас перевезем.

Я не верила своим ушам. Это казалось слишком прекрасным, чтобы быть правдой. Я заревела еще пуще.

Меня утешали. Собрали денег, чтобы расплатиться с Аделаидой Ивановной за постой. От мамы из Ленинграда я ждала только через неделю. Откомандировали одного из мальчиков для перевозки вещей. «Перевозка» — звучало слишком громко. Мой чемоданчик был настолько легкий, что я сама могла снести его в одной руке.

Я продолжала всхлипывать: «Я же их заперла на задвижку. Они не могут выйти. Я боюсь туда идти».

Несколько человек вызвались для добровольной охраны, и меня торжественно повели в адское пекло.

Когда мы открыли дверь, оказалось, что квартира пуста. Очевидно, для спасения вызвали по телефону младшую сестру. Все было прибрано, все следы оргии уничтожены. Я оставила на столе плату за сундук, ключ от квартиры и записку, где благодарила за приют и сообщала, что по не зависящим от меня причинам вынуждена переменить адрес. Больше я никогда не видела ни Аделаиду Ивановну, ни ее веселого лысого друга.

На Тверской улице, в те годы еще не расширенной, в узкой ее части, на втором этаже над вывеской магазина «Коммунар» жила Танечка Певцова. Два окна красивой уютной комнаты выходили на Тверскую и находились как раз над буквами «у» и «а». Принадлежало это волшебное помещение актеру, служившему в провинции. Из уважения к Е. Т. Жихаревой он предоставил его ее дочери на время своего отсутствия. Сюда и проводил меня торжественный эскорт. Здесь началась совсем новая пора. Здесь приобрела я верного, близкого друга на всю жизнь — Татьяну Илларионовну Певцову.

Если все женщины были без ума от Юрия Александровича Завадского, то все мужчины были влюблены в Татьяну Певцову. Иначе и быть не могло. Она была так женственна, так хороша собой, и нежна, и умна, и очень добра. Подружились мы почти сразу, хотя при всей широте своей натуры она была очень аккуратна и дисциплинирована и моя изрядная неорганизованность, конечно, мешала ей. Но она не показывала вида, а я, безмерно восхищаясь ею, изо всех сил старалась ее не раздражать. И я была так благодарна ей! Первое время, вернувшись домой после всех занятий, мы без конца разговаривали. О театре, об искусстве, о жизни. Делились своими мечтами и надеждами. Наши пламенные беседы обычно затягивались до зари. И мы решили: раз мы все равно так много говорим, попробуем говорить на иностранных языках, которые, безусловно, нам смогут пригодиться. Обе мы плохо знали французский и немецкий, но твердо решили говорить между собой — один день на одном, второй день на другом языке, всячески избегая русских слов. В случае особой необходимости разрешали себе изъясняться жестами. Мы завели два словаря и увлеченно кинулись в эту затею. Поначалу, переполненные желанием высказаться, мы рвали друг у друга словарь, лихорадочно отыскивая нужное слово, потом постепенно приспособились. Не боясь бесконечных «э-э-э», неутомимой работы рук, плеч и даже бровей, мы так наладились, что совершенно свободно обходились без русской речи. Думаю, что со стороны мы представляли собой несколько странное зрелище, но нам это было неважно, а польза ощущалась несомненная.

Занятия в студии шли своим чередом. К десяти мы бежали на уроки. По вечерам, если были свободны от массовок, прорывались на спектакли. Театров было много. Самых разных, на всякие вкусы, увидеть хотелось все. По ночам обсуждали виденное,

спорили об искусстве. Мечтали о создании новых, «своих» театров. То это был «Терем» — Театр революционной мысли, то «Матэс» — Мастерская театрального эскиза, под именем которой мы совершали наши летние гастроли в ленинградской студии. Мы привлекали актеров из разных театров, устраивали организационные собрания, сочиняли программы и уставы, критиковали (как вся молодежь всех времен и народов) «старых маразматиков». Мы искали и провозглашали новые пути, не давая себе отчета в том, что эти пути давно уже пройдены. Дальше этих собраний дело никуда не шло, все были достаточно заняты, все работали и учились в разных местах. Уходили одни и приходили новые. Мы бурлили, кипели, не спали. Тратить время на сон считалось бессмысленным и расточительным.

Что не удовлетворяло меня — так это сама студия. Да простит мне Юрий Александрович. В очень уж замечательной школе я проучилась два года и не хотела со многим мириться. Мне казалось, что дело поставлено здесь недостаточно серьезно, не очень профессионально. Единственная радостная творческая встреча была у меня с Верой Петровной Марецкой. Мне посчастливилось стать ее ученицей. Она делала со мной отрывок из «Воскресения». Работать с ней было очень интересно.

Юрия Александровича я видела еще всего два раза. Один раз он зашел к нам на самостоятельный урок, чем привел весь курс в священный трепет. И другой, когда я пришла подавать ему заявление об уходе.

Я томила в студии. Мне казалось, что я теряю зря не только время, но и то, что удалось приобрести раньше.

Я узнала, что есть решение организовать в Свердловске Театр юных зрителей. В Москве набирали молодежь. Я показала, меня приняли.

С Юрием Александровичем попрощалась в его кабинете, в студии. Он сидел за столом, переплетая тонкими пальцами длинный карандаш. Он распустил сборочку на пухлых губах и очень мило мне улыбнулся.

— Жаль, что вы уходите, — сказал он. — Я не люблю расставаться со способными учениками.

Я подумала, что он-то ведь совсем меня не знает, но, конечно, ничего не сказала.

Мы пожелали друг другу всего хорошего. Мне почему-то захотелось, как в детстве, сделать книксен, но я его не сделала. Я тоже улыбнулась ему и вышла.

Расстаться с Таней было трудно. Я очень полюбила ее, очень к ней привязалась. Но мне казалось, что и ей надо от меня отдохнуть. Я твердо считала, что нельзя никогда злоупотреблять

гостеприимством, даже самым искренним. Кроме того, я была уверена, что дружба наша нерасторжима. Далекий, совсем еще незнакомый Урал манил своей неизвестностью. Первый профессиональный сезон накладывал ответственность, от которой уж никуда не спрячешься. Самостоятельность полная. Ни студии, ни Тани Певцовой. Поборов все колебания, я отправилась в Свердловск.

ДЕД МОРОЗ

В нашей жизни с Татьяной Певцовой в старом двухэтажном доме на Тверской бытовые мелочи никакой роли не играли.

Мы были бедны, но это нас ничуть не огорчало. Моя мама могла посылать мне весьма скудное содержание. У Елизаветы Тимофеевны, конечно, возможностей было больше. На те средства, что она присылала, можно было бы очень прилично жить. Но в день получения перевода созывалась студийная голодная братия, все деньги спускались в один момент, и мы переходили на свой привычный рацион — чай и хлеб.

Правда, мы подрабатывали. Ползали нищими с мольбой о хлебе в «Борисе Годунове», плясали на именинах Татьяны Лариной и на светском балу в Петербурге — в Оперной студии Станиславского. Это давало нам счастливую возможность иногда позволить себе капустные котлеты в ближайшей столовой. Мы не страдали от голода. Наша жизнь была так наполнена, так захватывающе интересна, что отлетало все, что могло ее хоть чем-то немного омрачить. Был небольшой раздражающий соблазн в подвальчике соседнего дома — нэповская кондитерская с такими пирогами и тортами в витрине, что даже дух захватывало. Конечно, она притягивала наше внимание, но мы находили в себе силы переключать его на другие вещи.

Как-то зимой я вприпрыжку бежала домой — холодно было ногам в парусиновых туфлях, хоть и были они покрыты толстым слоем черного гуталина — и у самого дома встретила Сергея Митрофановича Городецкого. Он удивился — никак не ожидал встретить меня в Москве, начал стыдить и корить, что не даю о себе знать. Я ничуть не сомневалась в его добром отношении ко мне, знала, как он любил моего отца, как чтил его память, как много играл со мной в детстве, но напомнить о себе не могла. Слишком уж велика была разница в нашем жизненном положении. Больше всего на свете я боялась показаться кому-нибудь «казанской сиротой».

— Где ж ты живешь? — спросил он.

Я показала на окна над вывеской «Коммунар».

— Так близко? — Сам он жил на Красной площади, в Годуновских палатах. — Ну и поросенок же ты! Ну что ж, приду к тебе на днях чай пить.

И правда, в ближайшее воскресенье, днем, раздался телефонный звонок:

— Дома? Морозец на улице здоровый. Ставь чайник. Иду к тебе погреться.

Мы с Таней пришли в некоторую панику. Случилось так, что на этот раз у нас не было ни чая, ни сахара, ни хлеба. Но отступить было поздно. Из запретной стеклянной горки мы достали кузнецовские чашки, принадлежащие актеру, служившему в провинции. В обычное время мы даже мимо проходили с осторожностью. В его же хрустальную вазочку насыпали пектус — драже от кашля (единственное наше продуктовое достояние). Поставили блюдечки для варенья, на каждое положили по два шарика драже. Так в хороших домах на маленькие тарелочки у прибора кладут два ломтика хлеба, чтобы не затруднять гостя лишними движениями.

Сергей Митрофанович вошел действительно замерзший, крупный нос его порозовел, волосы побелели от инея. Я церемонно, как мне казалось, в высшей светской манере, представила ему Таню. Она выглядела настоящей герцогиней. Мы поспешили сесть за стол, разлили кипяток в кузнецовские чашки и «зажурчали» беседой. Нас очень пугали паузы, мы боялись всяких вопросов с его стороны, на которые совсем не хотелось отвечать. Мы прожурчали про погоду. Заметили, какая холодная нынче зима и как красива Москва под снегом, поговорили о последних премьерах — об этом мы были хорошо осведомлены. Нам казалось, что мы достаточно изящно перебрасываем беседу из уст в уста с единственной четкой задачей: не дать ему слова. Но он все-таки прорвался.

— Подождите меня, девочки, десять минут. Сейчас я вернусь, — сказал он и вышел.

А что было потом... Вернулся он очень быстро. В растопыренных его руках еле удерживались бесчисленные пакеты, свертки, коробки, бумажные мешки. Из одного вылезала жареная курица, из другого торчала колбаса... Хрустящие батоны, пачки чая и сахара, какие-то банки с консервами, масло, сыр... Из мешков сыпались мандарины, вываливались апельсины... Из глубоких набитых карманов пальто он выгружал конфеты и плитки шоколада — настоящий Дед Мороз из святочного рассказа. В довершение всего была снята крышка с огромной коробки — там сидел грандиозный яблочный пирог из кондитерского подвальчика. Тот самый, на который мы боялись заглядывать, когда он украшал соблазнительную соседнюю витрину. Мы онемели. Мы в буквальном смысле были близки к обмороку.

— Пошевеливайтесь, пошевеливайтесь, девочки, — говорил он. — Заварите чай, нарежьте пирог, у меня даже пальцы околечени.

Мы двигались, как сомнамбулы. Мы не могли поверить, что

все это действительно на самом деле. Мы не могли ни пить, ни есть, ни разговаривать. Он все понял. Был чуток и деликатен. Наскоро проглотив чашку чая, он похлопал нас по плечам и удалился.

Некоторое время мы еще побыли в прострации и вдруг, не сговариваясь, рванулись к телефону. Мы обзвонили всех наших товарищей. Мы кричали в трубку:

— Вы видели когда-нибудь чудо? Настоящее чудо? Скорей, скорей к нам! Вы увидите такое, что вам и присниться не могло! Да, да, здесь, на Тверской улице, над буквами «у» и «а»! Бросайте все и бегите!

И сбегались все. И все обалдели. И все не решались прикоснуться к этим несбыточным вещам.

А потом начался пир.

На многих веселых, радостных пирах бывала я в своей жизни. На прекрасных праздниках, на почетных торжествах, на роскошных застольях, на уютных вечеринках. Но равного этому пиру — не было ни одного.

Мы съели все. За едой вдруг вспоминали, что кого-то пропустили, кого-то не позвали, забыли кого-то. И мы опять звонили по телефону и опять радовались удивлению и восторгу на лицах вновь пришедших опоздавших друзей.

Бедный Сергей Митрофанович! Он, наверное, думал, что обеспечил нас по крайней мере на неделю!

Льшу себя надеждой, что он не рассердился бы, если бы узнал. Он сам был человек широкий и щедрый. Он не мог огорчиться, что вместо двух голодных девчонок накормил и осчастливил целую ораву ребят.

ВДАЛИ ОТ ДОМА

Воздушная волна от разрыва бомбы выбила стеклянную стену фасада Театра комедии на Невском. Мы переехали на Фонтанку, в помещение Большого драматического театра, где и обосновались до отъезда из Ленинграда — 17 декабря.

Почти вся труппа жила в театре. Мы с Николаем Павловичем Акимовым занимали маленький кабинетик заведующего режиссерским управлением. Узенький диванчик, письменный стол и спасительный камин — вот все, что там было. В камине мы жгли старые декорации, подсушивали хлеб, похожий на мокрую глину, кипятили воду. Водопровод, к счастью, работал.

Николай Павлович очень ослабел, ходил с палкой, но духом был, как всегда, бодр. Пытались устроить ему дополнительный паек. Получили только две пачки сухого клюквенного киселя без сахара, но и это явилось крупным подспорьем.

К ноябрьским праздникам начали готовить новую постановку — пьесу А. Гладкова «Питомцы славы».

Репетиционное помещение находилось в верхнем этаже. Фашистские самолеты налетали почти без перерывов. Во время воздушной тревоги запрещалось продолжать репетиции. Все, кроме дежурных по пожарной охране, обязаны были спускаться в бомбоубежище. После двух дней, проведенных в путешествии по лестнице вниз и вверх, мы, по общему желанию коллектива, заперлись в репетиционном зале и работали, невзирая на стук администрации и на сотрясение здания от падающих бомб.

Никогда не забуду, как выглядел в эти дни зрительный зал. Закутанные в шубы и платки, в валенках и рукавицах, сидели люди в холодном театре. Они приходили на спектакль через обстрел и бомбежку, голодные и слабые. Военные попадали к нам прямо с передовых позиций, замученные, усталые, чтобы хоть немного перевести дух, немного отвлечься. В эти дни мы не слышали бурных аплодисментов, к которым привыкли до войны, не слышали громких раскатов смеха, сопровождавших наши спектакли в мирное время. На эти реакции не хватало сил. Но мы видели горящие глаза, благодарные улыбки на бледных голубоватых лицах — характерный цвет лица для каждого ленинградца тех дней. Мы понимали: если они пришли к нам — мы им необходимы. Спектакли шли на нервном подъеме. Мы старались увлечь, увести зрителей в другой мир, помочь забыться, пусть ненадолго. Но мы не могли заткнуть им уши, заглушить грохот артиллерийского обстрела, ставшего постоянным аккомпанементом наших выступлений. Правда,

ленинградцы не теряли чувства юмора. Когда в спектакле «Питомцы славы» наполеоновские солдаты обстреливали русских и выстрелы, изображаемые хлопанием об пол фанерной доской, чередовались с грохотом немецких орудий, публика дружно усмехалась. Из зала поступали советы — дать отдохнуть рабочим-шумовикам, и так звукомонтаж достаточно выразителен.

В день премьеры «Питомцев» два снаряда попало в театр. Один разворотил центральный подъезд и выбил окна в трех этажах, другой пробил крышу над сценой. К счастью, произошло это рано утром, так что обошлось без жертв. Спектакль находился под серьезной угрозой. И без того в холодном помещении гулял морозный ветер. Температура была как на улице. Рабочих рук, чтобы забить окна, не найти, но и спектакль отменить невозможно. Его ждут. И вот все — актеры, режиссеры, рабочие сцены, дирекция — принялись за работу. Фанерой, кусками старых декораций забивали окна, заделывали брешь в потолке. Не успели и не сумели только починить театральный подъезд. Когда публика подходила к театру, видела развороченный подъезд — товарищи наши, дежурившие у дверей, наблюдали, — такое огорчение, такое разочарование появлялось на их лицах, что мы еще раз поняли, как необходим был сделанный нами ремонт, как важен был наш спектакль.

Играли мы каждый день. Голоса звучали не так звонко, на ногах мы стояли не так твердо, но чем слабее мы чувствовали себя физически, тем сильнее было нервное напряжение.

Спектакли часто прерывались бомбежками, зрителей приглашали спускаться в бомбоубежище. Иногда воздушные тревоги затягивались, тогда спектакли и вовсе не кончались, — ходить по улицам можно было до определенного часа. Когда немцы стали забрасывать нас зажигательными бомбами, тушить мы выбегали вместе с публикой, особенно отличались дети. Много книг посвящено ленинградским детям во время блокады. Про них говорили, что это были и не дети, и не взрослые — просто новые люди, каких еще не видел мир.

В бомбоубежище театра жил девятилетний мальчик, сын нашей пианистки. Маленький, худющий, закутанный в большой материнский платок поверх пальто, он от начала до конца простаивал в кулисах во время спектаклей. Однажды, получив свой двухнедельный паек — пять конфеток, — я угостила его. Он долго смотрел на меня темными взрослыми глазами. «Разве можно теперь угощать конфетами?» — наставительно сказал он. Больших трудов стоило убедить его взять конфетку.

Через несколько дней, в антракте, он вошел ко мне в уборную, остановился у дверей, вертя в руках спичечную

коробочку. Открывал, закрывал ее, хитро посматривал на меня, не решаясь что-то сказать. Наконец подошел и бережно поставил ее на стол.

— Что это? — спросила я.

Он подвинул коробочку ближе ко мне и сказал:

— Прошлый раз вы меня из своего пайка конфетой угостили. Мама вчера получила для нас, и я вам тоже принес.

Забывать такое нельзя. Чтобы понять это, надо знать, чего стоила тогда конфета для ребенка, какое недетское понимание всего окружающего могло вызвать такой поступок.

Мы были молоды. Оптимизм и юмор не покидали нас. Несмотря на все ужасы, твердая вера в счастливый исход поддерживала. Мы работали, помогали друг другу, в свободное время шили ватники и даже шутили. У всех у нас стали страшно выпадать волосы, а на лице почему-то вырастали длинные, тонкие одиночки-волосинки. Мы остригли — умрем лысые, но бородатые.

У артиста Александра Васильевича Смирнова и у его жены Милочки Давидович украли хлебные карточки. Это было равносильно смертному приговору. Борис Тенин, имея на себя и жену Сухаревскую две, одну подарил Смирнову. Поступок в те времена героический. Но и все старались как-то помочь, чем-то поделиться. К празднику нам выдали вместо хлеба по ромовой бабе и по кильке в придачу. Николай Павлович положил кильку на ромовую бабу и отнес пострадавшим со стихами:

Хоть я не лорд, хоть я не «Норд»,
Но вы примите этот торт!

«Норд» — так перед войной называлась лучшая кондитерская города. (Теперь «Север».)

Но случались и неприятные проявления человеческой личности. Правда, у нас это бывало редко. На казарменном положении в здании Большого драматического театра находились не только работники нашего театра. Потерявшие кров после бомбежки или просто одинокие, — разные бывали причины. Но все это были люди, которых мы хорошо знали. Один случай произвел на нас с Николаем Павловичем сильное впечатление.

Подсушив, по обыкновению, нашу дневную порцию хлеба, в ожидании, когда закипит вода, мы прилегли немного отдохнуть. Николай Павлович лежал лицом к двери, я — спиной. Маленькая тарелочка с ломтиками хлеба стояла на столе, за изголовьем. В дверь постучали. Мы не ответили — не было сил разговаривать, хотелось полежать спокойно, и закрыли глаза. Дверь

приотворилась, кто-то заглянул в комнату. После небольшой паузы мы слышали почти бесшумные, крадущиеся шаги. Вошедший подошел к столу. Мы оцепенели и превратились в слух. В напряженной тишине раздался чуть заметный звук жевания, даже не жевания, а размачивания во рту сухаря, чтобы не хрустнул на зубах. Все это длилось несколько секунд, после чего посетитель так же бесшумно удалился. Мы открыли глаза и молча смотрели друг на друга. Тарелочка опустела. Это был наш очень хороший знакомый, мы видели сквозь прищуренные глаза. Мы его не осуждали. Но нам стало страшно.

На 17 декабря был назначен наш вылет из блокады через кольцо. Николаю Павловичу удалось выхлопотать разрешение на выезд и членам семей работников театра.

С нами должны были лететь мать Николая Павловича — Анна Дмитриевна, сестра его, Наталья Павловна, и мои мама и дедушка. Анна Дмитриевна страдала тяжелой болезнью ног, последние годы перед войной совсем не выходила из дому — наша квартира помещалась на пятом этаже без лифта. Удалось раздобыть машину и переправить их в театр за три дня до путешествия.

За своими я отправилась накануне отъезда. Жили они на Мойке, напротив Новой Голландии. Николай Павлович очень волновался по этому поводу, но сам он был не в состоянии совершить и более короткий путь. Меня снабдили в театре легкими саночками, чуть побольше детских, и я отважно зашагала мимо Апраксина рынка и вдоль Садовой. Шла не спеша, часто присаживаясь на санки для экономии сил. На Театральной площади мне показалось, что мимо моего уха что-то просвистело... Потом еще и еще. Вижу, немногочисленные прохожие встали на четвереньки и поползли к Консерватории. Я ничего не могла понять. Грохот артиллерийского обстрела был мне хорошо знаком. А тут тишину нарушало только странное посвистыванье. Поддавшись общему движению, я тоже, только во весь рост, пошла к Консерватории. Почти уже у самого подъезда какой-то человек закричал мне: «Ложись! Рехнулась, что ли? От шрапнели подохнуть хочешь!» И в эту минуту по радио объявили тревогу.

В вестибюле Консерватории просидела довольно долго. Придя туда засветло, вышла на улицу в густые сумерки. В декабре в Ленинграде солнце садится рано. Добираться до Мойки пришлось в темноте. Я очень надеялась, что выйдет луна, день был ясный. В кромешном мраке затемненного города сумею ли я доставить своих старичков на место?

Поднявшись ощупью во второй этаж — здесь-то детства знакома каждая ступенька, — постучала в дверь. Меня ждали. Упакованные вещи стояли в передней. На человека полагалось двадцать килограммов. Немного. Но большего мы дотащить бы и не сумели. Перед отъездом решили выпить чаю.

В комнате у бабушки, на петровском столике (он был страстным любителем старины), стояли три больших хрустальных бокала, освещенных маленькой самодельной коптилкой. Опыт двадцатых годов пригодился. Мама налила в бокалы горячий чай. Собственно, это был не чай, а настой какой-то травы, то ли мяты, а может быть, даже просто шалфея. Почему они пили из бокалов? Побилась ли другая посуда, или хотелось на прощанье поддержать в руках эти изящные сосуды? Атмосфера того вечера перенесла меня в детство. Эта самая комната, и бабушка в валенках, в теплой куртке, в шерстяной вязаной шапке, и еле заметный огонек коптилки, и мама, разливающая нечто горячее, что тогда он непочтительно называл веником, — все, как более двадцати лет назад. И глухие удары орудий за занавешенным окном... Только тогда Юденич, теперь — Гитлер.

Остаться ночевать нельзя, Николай Павлович будет беспокоиться. Маму усадили в сани, приладили чемоданчики, и поплелись мы с бабушкой по снежной набережной Мойки. Луна светила тускло сквозь морозную дымку, но все-таки светила.

Кроме нас с Николаем Павловичем, никто из членов нашего семейства никогда не летал. Мы боялись — как-то они перенесут воздушное путешествие, особенно на пустой желудок. На этот случай, в качестве строжайшего НЗ, у меня была припасена столовая ложка картофельной муки.

Рано утром, перед вылетом, мы всей семьей собрались у нашего камина. Полностью готовые в путь. На каждом из нас надето было по несколько костюмов, пальто, брюк — удобство наша ничуть не препятствовало этому. На каминном огне я сварила водяной кисель. Это была наша последняя трапеза в кольце блокады.

Улетали мы из Ленинграда на трех самолетах. Мы с Николаем Павловичем сидели рядом. Он был так утомлен, что положил мне голову на плечо и задремал. Напротив нас, лицом к окну, пристроилась на чемодане родственница одной нашей актрисы. Вдруг я вижу — выражение ужаса появляется в ее глазах, рот раскрывается — сейчас она закричит... Я только сжала ее руки — молчите, ради всего святого... и повернулась к окну. Длинное черное тело с белой свастикой на боку пролетало мимо нас. Сомнений не было — мы сейчас погибнем. Важно было

только не разбудить Николая Павловича, пусть все случится во сне. Черное чудовище пустило несколько очередей, поцарапало один из наших самолетов. И все-таки долетели мы благополучно.

Приземлились под Вологдой. Яркий солнечный день. Сильный мороз. Нас встретили, повели к избам.

Для Николая Михайловича Церетели прислали носилки, сам он идти уже не мог. Не очень молодой уже, этот артист Московского камерного театра, прогремевший в таких спектаклях, как «Федра», «Адриенна Лекуврер», «Жирофле-Жирофля», был приглашен в нашу труппу незадолго до войны.

Он мучительно переносил голод. Силы его таяли на глазах. Когда мы добрались до Кирова, пришлось положить его в больницу, но ничто уже не могло помочь ему. Там мы расстались с ним навсегда.

А мы, плетясь по неширокой тропинке спасительного местечка, пробирались к домам. Навстречу попадались люди, прижимавшие к груди большие буханки белого хлеба. Улыбки на изможденных лицах. «Идите, идите, каждому дадут по такой буханке», — говорили они.

И теперь запах свежего хлеба вызывает мгновенно в памяти яркий, солнечный морозный день, пышные, душистые буханки еще теплого белого хлеба. Красивые буханки с золотистой хрустящей корочкой. И гороховый суп! Серые, грязные, сидели мы за длинными чистыми столами и хлебали этот божественный суп.

— Не торопитесь, только не торопитесь, ешьте медленно. Если захотите, вам дадут еще... Только не спешите... — раздавались за нашей спиной голоса заботливых женщин в белых халатах.

Потом бесконечная однообразная тряска в теплушках... Сознание вдруг пробуждалось и исчезало куда-то... И наконец — город Киров! Неустойчивая память сохранила о нем какие-то обрывки.

Помню, мы тащимся с Николаем Павловичем (он с палочкой) по длинному, пустому коридору какой-то школы. Впереди шагает парень с двумя ведрами воды. Из одного идет пар. Какая-то школьная «умывалка» с длинными раковинами по стене. Вода из кранов не идет. Холодно. Как капустные листья, сдираем одежды, навораченные на себя еще в Ленинграде. Поливаем друг друга теплой водой. Неужели это правда? Боже мой, как невероятно похудел Николай Павлович! Это уже даже и не скелет, а что-то совсем неосоздаемое.

А потом начинается фантасмагория. Мы сидим на мягком диване за круглым столом, покрытым скатертью. Звучит милый

голос Евгения Львовича Шварца... Екатерина Ивановна хлопочет, накладывая что-то на тарелки. На столе котлеты. Огромные. Никто никогда не видел таких котлет. Глаза слипаются, все пропадает куда-то... и возникает опять. И вдруг — лицо Николая Александровича Подкопаева, нашего близкого друга. Мы не видели его с начала войны. Как очутился он здесь? Николай Александрович — физиолог, один из ближайших учеников Ивана Петровича Павлова... Какой счастливый случай занес его именно сейчас, именно сюда, в Киров, в комнату Евгения Львовича? Ощущение реальности теряется полностью... Да ведь это же колдовство!.. Ну конечно, мы в доме у нашего любимого ленинградского волшебника Евгения Шварца, это его рук дело... Глаза закрываются, открываются, мысли путаются... Как в зачарованном сне возникают милые, удивительно довоенные лица, мелькают огромные котлеты, проносится запах пирогов... Дремота охватывает все плотнее...

Кстати, загадочная способность Николая Александровича к совершенно удивительным появлениям в самых неожиданных местах проявилась еще раз, несколько месяцев спустя, в Сочи. По широкой пустынной улице, в жаркий летний день навстречу мне шел мужчина в военно-морской медицинской форме. Мы поравнялись. Вот так так! Профессор Подкопаев!..

Во время войны он был призван как врач. В Сочи оказался в служебной командировке...

А с дремотой никак не совладать, но, несмотря на нее, присутствие этих дорогих любимых лиц вселяет уверенность в будущем, успокаивает, и сон окончательно побеждает затуманенное сознание.

И опять стук колес и подрагивание поезда... Но теперь мы едем в классных вагонах, у каждого своя полка, на которой можно вытянуться. Нам выдали коричневые свечи из непонятного вещества. Оно сильно оплывает, быстро сгорает, оставляя после себя плоскую лепешку. Мы разминаем пальцами эту еще неостывшую лепешку, вкладываем в нее веревочку, скатываем новую свечу и так далее...

При свете этих свечей 31 декабря мы встречаем Новый год, 1942-й. С алюминиевой кружкой в руке, все еще опираясь на палку, Николай Павлович, как полководец на смотре, проходит по вагонам, желая всем счастливого Нового года...

Поезд не мчится, он не спеша идет в темноту, в неизвестность, но надежда на светлое будущее не покидает нас.

Прибываем в Магнитогорск. Не выходя из вагонов, поворачиваем обратно. Нет места. Город переполнен эвакуированными. Находим временный приют в маленьком

шахтерском городке Копейске, под Челябинском. Николай Павлович, озабоченный дальнейшей судьбой театра, едет в Куйбышев, где находится Комитет по делам искусств.

Мы вволю едим лапшу, пьем из пол-литровых банок (другой посуды нет) морковный и липовый чай и округляемся, как на дрожжах.

На серой оберточной бумаге приносят телеграмму. Театр получает назначение в Сочи. Всеобщее ликование. Я срочно отправляюсь за нашей маленькой дочкой Анютой, чтобы не опоздать к возвращению Николая Павловича из Куйбышева.

Анюта в Омске. В самом начале войны мы отправили ее к Александре Исаковне Ремизовой — режиссеру Вахтанговского театра, близкому нашему другу. Мы были уверены, что Москва не подвергнется бомбежкам. Актеры Московского камерного театра, покидая Ленинград после прерванных гастролей, взялись доставить Анюту по адресу.

И вот мы сидим с Николаем Павловичем на перроне Московского вокзала на огромном чемодане, набитом детскими вещами. Между нами Анюта, разбуженная среди ночи. Поезд должен отправиться около двух часов. Состав еще не подан. Группы пассажиров бродят, стоят, сидят на своем багаже. Народу как будто не очень много. Светлая ленинградская ночь не скрывает встревоженные, утомленные лица. Анюта, заинтересованная неожиданным ночным приключением, вертит своей головкой с аккуратно заплетенной толстой косичкой, обращая то к отцу, то ко мне с разными вопросами.

Наконец появляется медленно движущийся поезд. В одно мгновение платформа заполняется огромной толпой. Откуда? Только что было всего несколько небольших групп. Лавина людей кидается к вагонам, не дожидаясь полной остановки. Судорожно хватаясь за поручни, давясь и толкаясь с какой-то неумейной силой, люди, ничего не видя и не слыша, втискиваются в тамбуры. И подумать невозможно соваться туда с ребенком. Какой-то человек со смутно знакомым лицом — актер Камерного театра — выхватывает из-под нас чемодан и чудом впихивает его в тамбур. Знакомая актриса машет нам из окна вагона. Она что-то кричит, но разобрать невозможно из-за шума, крика, визга толпы. Испуганная Анюта прижимается ко мне, крепко вцепившись руками. Тот же актер мощным движением отрывает ее от меня и через головы осаждающих пассажиров передает в окно знакомой актрисе. До сих пор у меня в ушах стоит Анютин возглас: «Дайте мне хоть поцеловать-то ее!»

Потеряв с ней всякую связь во время блокады, мы знаем только, что Вахтанговский театр находится в Омске.

Выехав на «кукушке» из Копейска, на три дня задерживаюсь в Челябинске. Билетов в Омск нет. Гостеприимная семья нашего актера Анатолия Борисовича Шлома принимает живое участие в моих затруднениях. Покинув Ленинград с женой и сыном в самом начале войны, он временно обосновался на Урале.

Неоценима оказалась помощь и забота этих людей. Все путевые хлопоты они взяли на себя. Раздобыли каких-то невиданных продуктов, усадили в вагон, буквально взяв его приступом.

Поздней ночью выхожу на перрон омского вокзала. Темно, хотя здесь и нет привычного затемнения. Тускло освещенный зал ожидания переполнен. Люди плотной массой спят на полу. С трудом нахожу место, куда ставить ногу, чтобы не наступить на спящих. Автобус будет только через пять часов. До города одиннадцать километров. На улице тридцать пять градусов мороза. В душном, набитом помещении не найти даже места, чтобы стоя прислониться к стене. Спускаюсь с нескольких обледенелых ступенек. Стою в растерянности. Шуба и шапка у меня теплые. Валенки. Суконные брюки Николая Павловича... Но, пожалуй, пять часов все-таки не выстоять при такой температуре. Решаюсь двинуться пешком. Куда? Спрашиваю — никто не знает. Все приезжие, усталые, замученные люди. И вдруг подходит военный.

— Вам в город?

— Да.

— Садитесь, подвезу.

Я не разглядела и не помню его лица, я не знаю, как его звали, но голос его благодарная память сохранила и сейчас. Он довозит меня до самого театра (адреса Ремизовой я не знаю), настойчиво стучит в запертые двери — должен же быть какой-нибудь дежурный... И только когда наконец заспанный молодой человек отпирает все засовы, прощается со мной, наотрез отказавшись от каких-либо денег.

Молодой человек, актер театра, снабжает меня адресом и советует подождать до утра, чтобы не будить ни свет ни заря Александру Исаковну.

При первых признаках рассвета выхожу на воздух. Александра Исаковна живет недалеко. Маленький деревянный домик. Сваливаюсь как снег на голову. Неловкость, растерянность.

В теплом углу, по соседству с печкой, в деревянной кровати с перильцами спит драгоценное мое существо. Наклоняюсь, не различаю ничего, застит глаза. Вижу только — голова стриженная, а были длинные косы. Спит крепко, но мне почему-то кажется —

не спит. Так и стою в полутемной комнате. Не шевелюсь, молчу. Александра Исаковна торопливо одевается. Спешит на репетицию. Захлопывается за ней входная дверь. И вдруг, как маленький чертик из коробки, выскакивает моя из кровати. Худенькие цепкие ручки обхватывают меня так, что не отодрать. А я и не хочу отдирать, прижимаю к себе маленькое тельце с торчащими лопатками, вижу растянутый в счастливой улыбке рот без двух передних зубов и реву, реву...

Мой приезд застал Александру Исаковну врасплох. Расставаться с Анютой ей было не просто. До войны наша дочь почти ничем не болела, а тут перенесла чуть не все детские болезни подряд. Самоотверженно ухаживала за ней Александра Исаковна. В тяжелых условиях, без нужного питания, выходила ее, отдавая всю душу свою, всю любовь, отказывая себе во всем.

Поспешное бегство на репетицию не было вызвано необходимостью. Утро еще только пробивалось. Репетиции начинались не раньше одиннадцати. Удивительный такт этого человека, да и, наверно, потребность прийти в себя от неожиданности, освоиться с мыслью о предстоящей разлуке заставили ее так быстро уйти.

И в глубоком тылу нехватка полезной и здоровой пищи чувствовалась довольно сильно. В Омске открылись коммерческие гастрономические магазины. Продавались, по повышенным ценам, самые разнообразные продукты, но купить каждый мог только сто граммов чего-нибудь. Очередь выстраивалась с вечера.

— Придется вам пойти к открытию магазина, — сказала мне Александра Исаковна. — Орденоносцев пускают без очереди. Анюте необходимо масло.

Звездная тьма раннего северного утра. Сорокаградусный мороз переносится здесь легко. Шуба у меня очень теплая, из барсового меха с двумя длинными хвостами, завязанными под воротником. Приближаясь к магазину, слышу гул голосов. Толпа людей, освещенная неярким светом из окон, шевелится у входа. Притоптывают, хлопают руками, чтобы не замерзнуть. Достāju свою красную орденскую книжечку и, как меня учили, поднимаю ее над головой. Как в театре, — люди умолкают и расступаются. Иду по этому узенькому проходу, ни на кого не глядя. Мне мучительно стыдно.

С маленьким пакетиком сливочного масла в кармане возвращаюсь по тому же пути. Бранные слова сыплются мне вдогонку, изможденные, усталые женщины, не скрывая ненависти, дергают меня за барсовые хвосты. Это не вызывает ни чувства обиды, ни возмущения. Один жгучий стыд.

Александра Исаковна не провожала нас. Это было слишком тяжело для нее. Мы простились утром перед репетицией. Она ушла на целый день, чтобы и сборы наши не видеть. Вахтанговский театр очень помог. Нам достали плацкартные места, дали машину. Поезд уходил рано утром, но на вокзал надо было ехать с вечера. Шофер ночью везти не мог.

Провожал нас замечательный человек Николай Александрович Кудрявцев. Он работал на одном ленинградском заводе, эвакуированном в Омск. До войны — постоянный, активный участник самодеятельности театра при Выборгском доме культуры, которым руководила наша актриса Татьяна Викторовна Сукова. Прослышав о моем приезде, он зашел что-нибудь о ней разузнать и стал нашим ангелом-хранителем.

Он был так внимателен к нам — принес Анюте баранки (острый дефицит), увязал вещи, погрузил в машину, доставил на вокзал, там договорился с начальником, и нам отвели чей-то служебный кабинет, где он соорудил удобное ложе, так что Анюта могла поспать до поезда.

И тут обнаружились ужасная вещь. Оказалось, что я впопыхах забыла Анютин ночной горшочек. Путешествовать с ребенком без этого предмета тогда было невысказано. Пробраться к уборной через битком набитый вагон — чрезвычайно сложное дело. Хотя у нас были плацкартные места, но я уже по опыту знала, что это в так называемом смешанном вагоне, где все полки, все проходы плотно забиты людьми. Я была в отчаянии, но — ничего не поделаешь. Николай Александрович, устроив нас на ночлег, ушел.

Каково же было мое потрясение, когда под утро, незадолго до отправления поезда, он появляется опять с аккуратным пакетиком в руках. Одиннадцать километров туда и одиннадцать обратно. Двадцать два километра прошел он темной морозной ночью, чтобы принести забытый маленький детский горшок.

Скинув тяжелые шубы, чуть ли не на ходу выскакиваем из вагона. Сочи! Теплый ароматный воздух ранней южной весны после холода и мрака буквально опьяняет нас. Хочется дышать и дышать всей грудью, всеми порами кожи, всей душой.

Прежде всего подвергаемся санобработке — большая светлая баня, окруженная двориком, поросшим кустарником. Кусты сплошь увешаны странными непривлекательными плодами — это шапки и всевозможные головные уборы, вышедшие из санпропускника. С трудом удастся упрямить не забирать наши вещи в дезинфекцию. Каким-то сверхчудом нам удалось избежать всякой неприятной живности в дороге.

Обилие горячей воды, выданные куски мыла (неважно, что серого), ощущение божественной чистоты удивительно соответствует гостеприимному климату. Чувство забытой щенячьей радости охватывает нас.

Город непривычно пуст. Нет ни курортников, ни отдыхающих. Все санатории и дома отдыха превращены в лазареты. Местные жители заняты своим повседневным трудом, им некогда разгуливать. Улицы и пляжи кажутся особенно просторными. Едва начинающие зацветать фруктовые деревья почти неподвижны в прозрачном воздухе.

Все расселяются, устраиваются удобно и хорошо. Свободных квартир в городе достаточно.

Пора начинать работать. Нет ни декораций, ни костюмов, ни реквизита, но есть люди. Все принимаются за дело. Руководство устанавливает связь с начальством города — оно охотно идет навстречу, но для всего нужно время. А пока из существующих в местном театре старых декораций создаются нейтральные выгородки. Из ничтожных запасов захваченной из дома личной одежды сооружаются костюмы. Неважно, что для начала только для современных бытовых пьес. Все родственники вливаются в коллектив и на самых разнообразных постах включаются в работу.

Театр оживает. Кроме ежедневных спектаклей у нас еще новая работа: бригадами и поодиночке обслуживаем госпитали. Даем концерты или просто читаем в палатах вслух раненым бойцам. Каждый человек на вес золота, все заняты полезным делом.

Не могу не вспомнить с почтительным восхищением замечательную женщину, мать нашей актрисы, Надежду Всеволодовну Сукову.

Окончив Петербургский женский медицинский институт в первом его выпуске, она всю жизнь работала врачом. Давно уже находясь на пенсии (из-за больных ног с трудом передвигалась даже по комнате), сохранила удивительную живость ума, добродушный юмор. Надежда Всеволодовна стала необходимейшим человеком нашего театра во время эвакуации. Седые волосы, решительный профиль, темные глаза с озорным блеском... Сидя на балконе в кресле, она целыми днями что-то кому-то шьет, вышивает, переделывает. Живет она с дочерью и еще с одной родственницей в старой небольшой гостинице на первом этаже, рядом с театром. Все, проходя мимо, весело приветствуют ее, забегают посоветоваться по любому поводу. Она рада помочь всем и во всем. И лечит как врач, и делится своей житейской мудростью, нередко принося ощутимую пользу.

Николай Павлович, верный ее поклонник, часто заглядывает на уютную деревянную терраску в тени акации.

Итак, все постепенно налаживается. Спектакли возобновляются и идут, репетируются новые. Жизнь входит в привычное русло. Солнце, море, тишина... Если бы не раненые, могло бы казаться, что война приснилась в страшном сне.

У нас появляются свои меценаты. Один из них, с замечательной фамилией Шестиалтынный, директор мебельной фабрики в Дагомысе (под Сочи), оказывает нам существенную помощь. У него на фабрике строятся наши декорации, отлично выполненные всегда в срок. Он договаривается с городским ателье о шитье костюмов для спектаклей. Играем «Собаку на сене», — неважно, что в бязи и сатине. Для «Питомцев славы» готовятся мундиры и ментики из бумазеи с желтыми, вместо золотых, нашивками, но очень старательно и тщательно выработанные. Собираясь в Дагомыс для очередного заказа оформления, Николай Павлович предлагает мне поехать с ним. За нами присылают машину, радушный хозяин приветливо встречает у ворот. Через минуту мы сидим за накрытым столом, появляется шипящая сковорода с огромной камбалой, острые приправы и таинственная бутылка без этикетки, довольно редкая вещь в то время. За неимением рюмок наполняются большие фаянсовые чашки — маленький тост за дорогих гостей, делаем глоток... Ощущение зверского ожога во рту, сильнейший привкус бензина... К счастью, никогда больше не случалось пробовать что-нибудь похожее. С трудом переводим дух, овладеваем собой, осторожно, чтобы не расплескать адскую жидкость, ставим чашки на стол. Принимаемся за камбалу. Первые куски, отравленные навязчивым вкусом бензина, проскакивают с трудом. Наш собеседник как будто ничего не замечает, выпивает, закусывает, развивая идею портативного складного оформления, годного для любых спектаклей в любых условиях.

На прощание гостеприимный хозяин вручает нам гигантскую корзину отборной садовой земляники с фабричной плантации. Машина подана. Шофер на минутку подходит к столу взять что-нибудь пожевать на дорогу и, к моему ужасу, хватает не выпитую мной чашку «бензиновки» и одним махом опрокидывает ее в рот. Я в панике сую ему кусок рыбы, он гордо отмахивается, садится за руль, лихо захлопывает дверцу.

Первые несколько метров пути проходят благополучно, но сила дьявольского напитка проявляется незамедлительно. Нашим симпатичным водителем овладевает безудержная болтливость. Он хвастливо распространяется, какой он блестящий шофер — может вести машину даже стоя на голове. К счастью, до этого не

доходит — очевидно, мешает довольно высокий рост. Он заламывает руки за голову, кладет ноги на баранку и, изгибаясь морским львом, все время поворачивается к нам с неистощимым потоком слов. Хрупкий «газик» швыряет из стороны в сторону, он бешено мчится по извилистой спирали горной дороги.

Мы сидим на заднем сиденье с корзиной земляники на коленях.

— Кажется, она превратилась в кашу, — говорит Николай Павлович.

Еще виражи, зловещий скрежет колес на поворотах, еще толчки и скачки, и мы останавливаемся у дома. Разве не чудо?

Николай Павлович смеется:

— Если мы уцелели в полете с «мессершмиттами», не погибли в автомобильной катастрофе под бензиновыми парами, нам нечего бояться.

Первая бомба в Сочи упала в море недалеко от театра, во время спектакля «Питомцы славы».

Когда раздался взрыв, объявили воздушную тревогу, публика покинула зал. Я, как есть, в чикчирах и ментике Шуры Азаровой, кидаюсь в оркестр, откуда Анята смотрит спектакль. В Ленинграде я совершенно спокойно относилась к бомбежкам, а здесь меня охватывает чудовищный страх. Может быть, потому, что со мной Анята. Хватаю ее за руку, мы выбегаем из театра, спускаемся с горки, залезаем в лежащие внизу трубы, то ли оставшиеся от ремонта, то ли для чего-то приготовленные. Почему они показались мне безопасными, сказать не могу. Помню, что изо всех сил прижимаю ее к себе и думаю: «Боже мой, и сюда добрались, как мне ее спасти?»

После этой бомбы безмятежная жизнь кончается. Правда, налетали фашисты на Сочи не часто, не было еще ни жертв, ни разрушений, но враг приближался, началась эвакуация госпиталей. Город пустел с каждым днем. Налаженное снабжение лазаретов, заготовленное продовольствие не могло быть использовано оставшимся населением. Вывоз затруднен, почти невозможен. Некоторые продукты вообще не транспортабельны. И нам выдают невероятные пайки. Нас заливают сметаной, засыпают очищенным фундуком. Каждая семья ежедневно получает около десяти килограммов сметаны. Все начинают сбивать масло. Возникает борьба за качество. Некоторые вырезают из дерева специальные мутовки, работают на вполне профессиональном уровне. К кому ни зайдешь, картина одна и та же — один сбивает масло, другой на плитке жарит орехи. Орехи перемалываются в мясорубке, из них на сыворотке пекутся

лепешки. Ничего не пропадает, все использовано. Масло перетапливается, сливается в бутылки. Когда запасы в городе кончаются и прекращается сметанная вакханалия, оно очень выручает.

Страшные вести доносятся из Севастополя. Молодой летчик, сын квартирной хозяйки, у которой жили мама и дедушка, залетает с товарищами попрощаться с матерью перед отправлением в Севастополь. Случайно оказываюсь за столом этого драматического пира. Два юных летчика, четыре морячка — совсем мальчишки. Радостные лица — дома! Хотя бы один вечер! Бесшабашная, детская вера в собственную несокрушимость. Смех, пенье, гитара. Трагическое лицо матери с вымученной улыбкой на опухшем от слез лице. На рассвете они улетают.

К вечеру ни один из шести не остается в живых.

Фашисты подходят к Туапсе, нас эвакуируют в Тбилиси.

...Шумный, оживленный проспект Руставели. Приветливо открыты двери кабачка «Симпатия» с портретами русских писателей в грузинском обличье на стенах. Магазины торгуют чаем в пачках, вином... Рынки завалены снедью, правда, к ценам не подступиться.

Открываемся в помещении театра Руставели «Собакой на сене». Аншлаг. Успех. Масса цветов. Интересно их здесь подносят — рабочие сцены в черных подпоясанных рубашках, в мягких ичигах каким-то летучим прыжком выскакивают с корзиной из-за кулис и, преклонив колени, ставят ее у ног.

Живем мы в прекрасной старой гостинице по соседству с театром. Здесь же и «золотой фонд» МХАТа и Малого театра. Иногда встречаю в коридоре Владимира Ивановича Немировича-Данченко в шелковой полосатой пижаме, с тщательно расчесанной бородой. Легкое дуновение отличных английских духов приятно щекочет ноздри. К большой радости нашей, заглядывает к нам милый Василий Иванович Качалов — поболтать, выкурить папироску, а иногда и почитать стихи. Николай Павлович, конечно, не упускает случая набросать с него портретик. Василий Иванович — частый гость и на наших спектаклях, много добрых слов мы слышим от него. Имеем честь быть приглашенными на изысканный чай Ольгой Леонардовной. Очень дружим с очаровательной Варварой Осиповной Массалитиновой. Николай Павлович много и с удовольствием ее рисует.

Тбилиси требует показать наш нашумевший спектакль «Опасный поворот». Нет костюмов. Здесь, изображая элегантную светскую гостиную, не обойдешься бязью и бумазеей. В промтоварных магазинах ничего нет, кроме партии великолепных

заграничных цилиндров в особой упаковке. Большую часть этой партии скупает Борис Михайлович Тенин — на всякий случай.

Варвара Осиповна, она очень покровительствует мне, ведет меня к какому-то таинственному портному, известному под именем Саша. Саша открывает огромный сундук, и на свет появляются упоительные ткани, одна лучше другой. Выбираю нежно-розовый бархат, напоминающий по цвету мое платье из этого спектакля в мирном Ленинграде. Саша берется сшить костюм в очень короткий срок, и довольная Варвара Осиповна победоносно ведет меня к Николаю Павловичу.

И Лидия Павловна Сухаревская тоже обзаводится соответствующим туалетом, и мы выпускаем Пристли почти в довоенном блеске. Правда, жара такая, что грим ручьями течет у нас по лицам, но зрители прощают нам это и награждают аплодисментами.

Единственная бомба, свалившаяся на окраине этого чудесного, ни на какой другой не похожего города, привела население в некоторую панику. Многие ринулись в бегство — кто в деревню, кто в горы, кто куда. Театр комедии получил предписание отправиться в Таджикистан.

...Выгружаемся на площади в Баку. Из крупного багажа сооружается довольно солидная гора, у подножия ее на чемоданах располагается живописным лагерем весь коллектив. Одни устраиваются на ночлег, другие идут к морю или бродят по близким улицам. Подъезжает грузовик. С шутками и прибаутками соскакивает с него порядочная компания женщин, окруженная конвоем. Это уголовные нарушительницы закона. Их отправляют по этапу в глубь страны. До рассвета — мы соседи. Невзирая на одергиванья охранников, они перекидываются с нами словами, а узнав, что мы актеры, весело приветствуют нас, как своих. Мы делимся с ними чем можем — табаком, кусочками сахара.

С первыми утренними лучами Николай Павлович с администратором уходят в разведку, чтобы организовать переправу через Каспийское море. За нашими уголовниками приходит машина, они долго машут нам руками, выкрикивая пожелания счастливого пути. Солнце начинает припекать, становится невыносимо жарко.

Наконец возвращаются наши разведчики. Никакого водного транспорта нет и в ближайшее время не ожидается. В первую очередь будут отправлены те, что ждут здесь уже несколько дней. Единственный возможный для нас транспорт — маленькое старое судно, без всяких удобств, если оно еще вернется в Баку. Называется это судно «Сократ».

Багаж перетаскивается к причалу. На пирсе выстраиваются элегантные коробки с цилиндрами Тенина. Существенное место занимает огромное количество чая. В Тбилиси чай покупали все, кто сколько мог. Баульчики, узелки, корзины, коробочки — все набито чаем. Едем в Таджикистан, там в обмен на чай можно приобрести все!

В ожидании парохода мы с Николаем Павловичем и Анютой заходим к Любове Петровне Орловой, в гостиницу на берегу моря. Со слезами на своих прелестных глазах слушает она все наши злоключения, поит нас отличным кофе, а Анюту киселем, сохраненным от обеда, выданного по карточкам. К сожалению, боимся воспользоваться ее гостеприимным предложением принять душ — спешим на пристань.

Никакой черной точки на горизонте пока не видно. Солнце жарит вовсю. Невольно вспоминаются зловещие слова: «Если оно (судно) вернется в Баку...»

Но оно все-таки возвращается.

Все философы обладают юмором — это единственное, что спасло бы знаменитого грека от потрясения, если бы он увидел сооружение, почему-то названное в его честь.

«Без удобств» — это очень, очень мягко сказано. О пассажирских каютах и думать нечего. Тесное помещение для малочисленного экипажа, крохотная капитанская каюта и совершенно миниатюрный салон или кубрик — назвать можно как угодно. Но выбора нет. Вещи грузятся на палубу. Кое-как распахиваем самое наше старшее поколение по каютам (надо отдать справедливость капитану, готовому пожертвовать всем для наших старичков) и уже привычным образом располагаемся на чемоданах и на тюках. Дети в предвкушении морского путешествия весело скачут среди узлов и баулов.

Отчаливаем. Солнце приближается к зениту, печет вовсю, заливает палубу светом и жаром. Конечно, такое понятие, как тент, и в голову не приходит. Море спокойно. «Хоть бы маленький ветерок!» — читаешь в глазах у каждого затаенное желание.

И желание исполняется! Ветерок сперва, и правда, маленький, но потом... Все сильнее и сильнее... Волны уже касаются самого борта... «Сократ» поскрипывает, покряхтывает... У некоторых появляются симптомы морской болезни. И вдруг — огромная волна перекачивается через палубу... Первыми, дружной флотилией, уплывают фисташковые и белые коробки с тенинскими цилиндрами... за ними несколько кульков с драгоценным чаем, какие-то легкие пожитки, доверчиво лежавшие с краю. Ловить бессмысленно, разве что помахать вслед рукой. Торопливо перестраиваем багаж, сжимаем тяжелыми

вещами, привязываем веревками. Огромная волна, соблюдая точный ритм, перехлестывает через борт. Все мокрые с головы до ног, но солнце такое жаркое, что невольное купание пока не очень противно. В интервалах между волнами переодеваем детей, отправляем на капитанский мостик. Оттуда, как из набитого птичьего гнезда, раздается их веселый визг. Наш премьер Ж. Н. Лецкий собирается закусить. Чемодан, поставленный на ребро, служит столом. Очищает яйцо, нарезает помидор, аккуратный пучок зеленого лука (все куплено на рынке в Баку за бешеные деньги), наливается рюмочка... И — раз... будто нарочно дождавшись окончания сервировки, мощная волна опрокидывает непрочный столик и смывает в море вожделенный завтрак. С педантичным упорством он еще и еще повторяет свое аппетитное приготовление, и каждый раз коварная волна издевательски отправляет все за борт. В конце концов он глотает прямо из горлышка, впивается зубами в оставшийся помидор и, обиженный, укладывается на тюк, подставив спину разгулявшейся стихии.

К вечеру качка усиливается. Почти все больны. Шторм достигает девяти баллов. Мокро, холодно, противно. Дети запрятаны в машинное отделение. Голые, красные от света угольной топки, они похожи на чертенят у адского котла. Несчастный «Сократ» трещит по всем швам, но героически борется со свирепым Каспием.

Болтает нас больше суток. К тому же, мы потеряли направление, что значительно продлило наше плаванье. Незадолго до прихода в Красноводск море успокаивается и дает нам возможность немного обсохнуть.

Сходим на пристань. Даже шаткие мостики кажутся твердой, надежной почвой. Весь берег усыпан людьми. Беженцы. Большими группами и маленькими, семьями и в одиночку сидят они, уныло глядя на море. Ждут очереди на отправку в Среднюю Азию. Многие уже не первую неделю ждут. Тонкими струйками поднимается дымок от таганков и печурок, сложенных из нескольких кирпичей, — что-то варится. Одни прикрываются от солнца зонтом, у других сооружены подобия палаток из простыней, иные просто лежат, укрыв голову кто чем. Солнце палит нещадно.

Нас ведут в город. Любезно предлагают расположиться в помещении кинотеатра. Зрительный зал — площадка с земляным полом. Ряды — деревянные скамьи со спинками, врытые в землю. Потолок — небо. Небольшая крытая эстрада с сиротливым расстроенным пианино. Начинается великая сушка. Раскрываются чемоданы, развязываются узлы, распаковываются тюки. Все

выгружается, вытряхивается на скамейки, расстилается, раскладывается, развешивается. Ни одной сухой нитки. Но главное — чай! Чай в огромном количестве, купленный чуть ли не на последние деньги! Черная мокрая каша, да притом еще соленая, выжимается из корзинок и узелков. Сокрушаемся, но не теряемся — на сырых простынях, на влажных афишах на земле между рядами и в боковых проходах разрыхляем тонкие слои драгоценной гущи. Может быть, выветрится, просохнет, может быть, не совсем еще потеряны благодатные свойства живительного напитка.

В Красноводске, при таком наплыве народа, не хватает пресной воды. Стоим в очереди — выдают по литру на человека. На наше счастье, на второй день уже грузимся, и на этот раз — в купированные вагоны. Устраиваемся, обживаемся, появляется намек на уют. Ехать придется долго. На одной из станций принято покупать соль. Говорят, в Таджикистане плохо с солью. Некоторые тащат целые наволочки, других удерживает горький опыт с чаем, пытаются сохранить философское спокойствие. Из соседнего купе слышится: «Лев Аркадьевич, надо идти за солью». Молчание. «Лев Аркадьевич, купите, пожалуйста, соль!» Молчание. «Лев Аркадьевич, ну будьте мужчиной!» Нервный ответ: «Не буду мужчиной, не хочу быть мужчиной! Не буду, не буду! Не хочу!!!»

За окнами бесконечная однообразная степь. Скачут одни тушканчики, милые зверьки. В вагонах жизнь идет своим чередом, поезд тащится так медленно, что, кажется, никогда никуда мы не приедем, хотя уже въехали в Среднюю Азию.

Людмила Наумовна Давидович написала шуточную поэму о наших путевых приключениях. На какой-то маленькой станции вылезает подышать воздухом. Присев на сухую выжженную траву, хором поем эти остроумные стихи на мотив популярной песни. Небольшая группа местных жителей окружает нас. Они думают, что мы приехали к ним с концертом.

И вот наконец Сталинабад, как тогда назывался Душанбе. Здесь находится одна из московских киностудий. Нас встречают представители кинематографистов во главе с Сергеем Иосифовичем Юткевичем. Нам отводят большой спортивный зал в одной из школ, впредь до расселения по квартирам. Весь театр располагается на полу, огораживая каждый свою семью при помощи уже привычных узлов и чемоданов. Юная чета молодоженов, соединившихся во время нашего путешествия, умудряется соорудить себе из простыней и пальто изолированное помещение типа шалаша.

Откуда-то раздобываются кирпичи, и мы складываем

маленькие таганки, по примеру Красноводска, в пыльном школьном дворе. Мы уже опытные кочевники — научились преодолевать трудности и прикрывать глаза на мелкие неудобства.

В городе поражает обилие пыли. Бульвары плотно усажены высокими деревьями, их ветви сплетаются наверху, образуя купол, — защита от безжалостных солнечных лучей. Но густая листва совершенно серая, все покрыто толстым слоем мельчайшей пыли. Высохшие арыки, идущие вдоль улиц, наполнены этой пылью. Если сунуть босую ногу в такую канавку, нога погрузится в пыль почти до самого колена. Ощущение, пожалуй, даже приятное, настолько она мягка и нежна. Но отмывается с трудом, очень уж мелкая, — въедается в поры. Зимой эта пыль, обильно смоченная дождями, превращается в густую вязкую грязь. Она буквально засасывает, как болотная трясина. Далеко не всегда можно найти и вытащить застрявшие в ней галошу или башмак. Зато весной, когда грязь высыхает, а пыль сдувается ветром, сколько разной обуви и других самых неожиданных предметов возникает перед глазами прохожих.

Ошеломляют рынки. Чего только нет... И огромные гроздья крупного винограда всех оттенков, и всевозможные дыни, и гиганты арбузы, не говоря уж о помидорах, баклажанах, луке и прочем. Цены соответствуют красоте товаров. Не подойти. Наблюдаем издали, как седобородые таджики в полуистлевших ватных халатах (будто бы есть обычай донашивать халат, пока он не развалится сам) набивают кошельки пятерками, десятками, тридцатками. Особенно дороги папиросы. Не фабричные — самодельные, склеенные из довольно плотной бумаги, экономно набитые табаком. Пока театр не работает, пайков мы не получаем. В дороге изрядно «поиздержались». Приходится заняться торговлей. Самые предприимчивые расстилают полотенце на положенную на пыльную землю газету, на него — чай, высушенный после каспийского купания. Продаю враспынную, отмеряя рюмочкой. Торговля идет бойко. Таджики ценят чай. Правда, иногда назревает скандал — соль-то ведь не выветрилась. Одному нашему «удачливому» коммерсанту чуть не попало, но все кончилось благополучно.

Выхожу на базар и я. Два тоненьких летних платица держу на распялках. Одно мое любимое — желтое, вышитое яркими красными цветами. Поглядывают, проходят, иногда помнут грязными руками, никто не останавливается. Стою долго, безнадежно. Могучая женщина в замусоленном сером ватнике, вынырнув из толпы, проявляет явный интерес к яркой расцветке. «Вам не подойдет», — бормочу я. «Пойдем померим!» — отвечает

она. Зачем-то идем к какому-то забору, отнюдь не укрываясь от любопытных взоров. Моя покупательница скидывает ватник, просовывает голову в платье и резко дергает его обеими руками. Треск — и платье распарывается по двум боковым швам. «Беру!» — заявляет она. Накидывает ватник на узкий передник, болтающийся на ней спереди и сзади, в который превратилось платье, отсчитывает грязные кредитки и победоносно удаляется.

Здание театра в городе прекрасное. Хорошо оборудована сцена, удобный зрительный зал. Таджикский государственный театр оперы и балета. Нам любезно предоставляется право делить с ним помещение. Три раза в неделю идут оперные и балетные спектакли, остальные дни играем мы.

Квартирный вопрос постепенно разрешается. Все устроены более или менее удобно. Мы с Николаем Павловичем получаем комнату в двух шагах от театра, на улице Лахути. Второй этаж, балкон и водопровод, что здесь пока еще довольно редко. Анна Дмитриевна и Наталья Павловна — мать и сестра Николая Павловича — в этом же доме, по другой лестнице. Анюта с бабушкой и прадедушкой в одноэтажном домике с фруктовым садом, тоже неподалеку.

Наша комната очень маленькая, в одно окно, оно же — балконная дверь. Мы умудряемся трактовать ее, как целую квартиру. Кочевье кончилось, предстоит оседлая жизнь, обзаводимся хозяйством. В центре маленький обеденный стол — это столовая. В правом углу у окна — спальня. В левом углу, напротив, небольшой письменный стол и складной мольбертик — мастерская Николая Павловича. По этой же стене, в углу у двери, кухня — малюсенький столик с электрической плиткой, с другой стороны двери — крошечная кушеточка, на случай Анютиных ночевков. И даже совсем миниатюрная тумбочка — служит мне туалетным столиком.

На единственной плитке готовится все. Супы, жаркое, десерты, вплоть до пирожных. Снабжают нас очень хорошо, а после блокады и всех передрыг хочется нормальной жизни с обыкновенной посудой вместо пол-литровых банок. Николай Павлович даже приобретает какой-то сероватый сервизик. Одна тарелка от него и сейчас сохранилась. Но что совершенно непостижимо, как мог здесь работать Николай Павлович — в чаду хлопкового масла, на расстоянии одного шага от раскаленной плитки? Как мог он вести регулярную переписку с начальством, постоянно выясняя какие-то вопросы? Переписку с авторами, разбросанными по всей стране? Писать статьи, вести переговоры с артистами, обсуждать с Алексеем Михайловичем Файко заказанную для нас пьесу? А главное — рисовать эскизы? Ведь вся

замечательная серия рисунков для фильма «Кощей Бессмертный» была создана в этой комнатухе рядом с плиткой, где и повернуться-то негде.

В театре Николаю Павловичу выделяют небольшой кабинетик значительно позже, где-то на верхотуре. Лифта, конечно, нет, никто из посетителей не любит туда забираться. А дом наш стоит на самой проходной улице, и многие по пути заглядывают к нам. Да и для деловых разговоров предпочитают театру нашу квартиру. Несмотря на тесноту, нас не обременяет это. В Таджикистане, впервые за всю эвакуацию, появляется ощущение прочности, мы радуемся этому и стараемся не замечать неудобств.

Некоторые актеры, помимо основного дела, занимаются и другими полезными вещами. Василий Петрович Никитин, например, мастерит замечательные деревянные босоножки. Борис Михайлович Тенин осваивает пряничное производство — очень вкусные и красивые фигурные пряники получаются у него.

Театр работает хорошо. Спектакли идут с успехом. Здесь много эвакуированных ленинградцев. Мы обретаем своего постоянного зрителя, в любви которого не сомневаемся. А вдали от дома эта связь становится еще крепче. Удастся завоевать и признание местного населения, завязываются дружеские отношения. Доброжелательная, радушная атмосфера окружает нас.

Проходят годы, но память хранит с благодарностью и раскаленный азиатский воздух, и покрытые пылью бульвары, и даже глубокую осеннюю грязь. Не забудется прекрасное здание театра, хранившее в темноватых залах живительную прохладу... Но главное в Таджикистане — славные, гостеприимные люди. Они очень нам помогли в тяжелые для нас времена.

НЕ ТОЛЬКО ДЕРЕВЯННАЯ НОГА

Недавно я прочитала у одного французского театрального критика, известного под псевдонимом Гран Мажик Сиркюс, слова, запавшие мне в душу: «В театре надо быть смиренным. После вас придут другие, и вас забудут. Очень скоро. Если сейчас и говорят еще, иногда, о Саре Бернар, то только потому, что у нее была деревянная нога».

Смешно и очень печально. Не хочется думать так. Да, театральное искусство быстротечно. Не оставляет ни книг, ни картин, ни симфоний, ни прекрасных зданий... Хотелось бы увидеть и услышать, как играли Асенкова и Комиссаржевская, Элеонора Дузе и Сара Бернар (даже с деревянной ногой). Это, увы, ушло безвозвратно.

Но теперь-то есть кино, и телевидение, и радио!

Какие замечательные фильмы — художественные и документальные — берегутся в особых условиях. Сколько интереснейших записей хранится в радиофонотеках, и все же очень многого не хватает. Не знаю, кто решает, что достойно и что недостойно хранения. История объективна и беспристрастна. Что было — то было, для будущего все важно. И какие досадные иногда бывают просчеты. Как неэкономно и даже бездумно-расточительно поступают порой с уникальными явлениями театрального искусства.

Многочисленные и великолепные пленки, запечатлевшие творчество Улановой, Дудинской, Плисецкой... Не сомневаюсь в тщательном хранении блестящих произведений Екатерины Максимовой. Но как же могло случиться, что ничего не осталось от танца Татьяны Вечесловой, кроме нескольких неудачных кадров. И все же ленинградцы помнят ее, хотя последний раз танцевала она на сцене Кировского театра тридцать лет назад. Имя ее известно. О ней рассказывают. Она пишет книги. Но хотелось бы увидеть и как она танцует!

Несколько лет назад, во время подготовки на телевидении творческого вечера Льва Колесова, выяснилось, что почти ничего из его прекрасных выступлений не сохранилось. На радио есть отличные вещи, а на телевидении — не уцелели. А ленинградцы помнят и любят его. Хотели бы его видеть. Хотят о нем знать.

Его первая роль была Красная Шапочка. Из всего класса выбрали для этой роли худенького мальчика с тоненьким голоском, с длинными ресницами над большими серыми глазами. Евгений Львович Шварц почему-то очень радовался этому и любил повторять: «А вы знаете, с какой роли он начал свою

творческую деятельность? — И добавлял: — Не мог подождать, пока я напишу «Красную Шапочку», играл в чужой пьесе!»

Никакого театрального образования он не получил, если не считать недолгого пребывания в Ленинградском балетном училище в детские годы. Он запомнил с тех пор наивный стишок, помогавший малышам усваивать трудные движения:

Глиссад, глиссад — рамочка,
Глиссад, глиссад — херувимчик,
Ножка здесь, ножки нет,
Где ножка, где ножка? — Вот она!

Он пробыл там слишком мало, чтобы овладеть балетной техникой, — родители увезли в Краснодар.

И вот тут-то все и завертелось. По сложным семейным обстоятельствам ему пришлось очень рано начать работать. В четырнадцать лет он служил в отделении краснодарского банка — бегал по этажам, разносил ведомости и какие-то бумажки. От сослуживцев своих он узнал, что существует в городе замечательный клуб «Путь к коммунизму».

В клубе кружок самодеятельности набирает молодежь для участия в каком-то грандиозном концерте.

— Хочешь пойти со мной? — спросил юного коллегу симпатичный молодой человек по имени Жора Осипов. Как старший товарищ он покровительственно относился к мальчику. Тот только хмыкнул от радости и помчался завершать служебные дела.

В клубе было полно народу. Режиссер Иост, руководитель кружка, просматривал ребят, отбирая самых музыкальных и поющих. Он собирался создать «Хор братьев Зайцевых».

В двадцатые годы такие пародийные ансамбли были в большой моде. Вся самодеятельность была охвачена этим увлечением. Это были хоры, оркестры, играющие на гребенках, обернутых папиросной бумагой, на подвешенных бутылках, наполненных водой на разном уровне, на старых кастрюлях и сковородах... Но все это было на высоком музыкальном уровне — кастрюли и сковородки тщательно простукивались, подбирались по нотам — оркестры составлялись по самым серьезным правилам.

Участники, в соответствующих гримах и костюмах, представляли всякий сброд, широко «украшавший» тогда городские улицы. Оборванцы, пьяницы, спекулянты, нэпачи, пижоны — все, кого только могла представить себе наблюдательная фантазия режиссера, — появлялись на сцене в

остроумных сатирических образах. У каждого был свой «выход», свой номер, затем исполнялись дуэты, трио, и заканчивалось все общим хором или оркестром. У публики такие представления имели успех огромный. Репертуар состоял, главным образом, из популярных мелодий, модных песенок, частушек.

Наш герой, в свои четырнадцать лет, не успел еще как следует подрасти и выглядел значительно моложе своего и так не солидного возраста. Никто не обратил на него внимания. Но верный друг Жора, давний участник самодеятельности, уприсил режиссера посмотреть мальчика.

Лев Константинович Колесов от природы обладал прекрасным слухом, отлично двигался. Свой знаменитый голос он получил по наследству — отец его пел приятным баритональным тенором, увлекался любительскими концертами и даже учился у итальянского профессора.

На режиссера Иоста худенький сероглазый мальчик произвел впечатление. Он с таким рвением безотказно выполнял самые сложные задания, пел, танцевал, изображал известных эстрадных конферансье. Иост решил дать ему главную роль — самого дирижера «Хора братьев Зайцевых». Неожиданное счастье ошеломило будущего дебютанта и вдохновило на новые подвиги. Он репетировал без устали, ничего невозможного для него не существовало. Верный друг Жора, пожелав своему подопечному ни пуха ни пера, уехал в Москву — ему стали узки рамки периферийной самодеятельности.

И наконец, премьера! Когда на фоне обширной семьи «Братьев Зайцевых», состоявшей из толстых молочниц, красноносых пьяниц, пузатых капиталистов в котелках, спекулянтов и прочей шантрапы, на сцене появилась маленькая, тоненькая фигурка в узеньких клетчатых брючках, кургузом пиджачке, в канотье, с дирижерской палочкой в руках — в зале насторожились. Но маленький дирижер, как длинноногий комарик, так изящно порхал по сцене, так убедительно и серьезно наставлял своих певцов, что очень быстро вызвал горячую симпатию публики. А когда он весь вытянулся в струнку, поднялся на носки, взмахнул палочкой и «Хор братьев Зайцевых» грянул во всю мощь — благодарная публика ахнула от удовольствия. Успех был самый настоящий. Большая часть его выпала на долю маленького музыканта. Как пишут в романах — «наутро он проснулся знаменитым». Потом серия триумфальных выступлений, гастроли по окрестностям Краснодара... О нем заговорили: «Ему надо учиться! Такой способный! Непременно учиться! Надо ехать в Москву!»

И он решил. Полный надежды и веры, не задумываясь,

ринулся в столицу. Совсем мальчишка. Гол как сокол. В огромном городе ни души знакомой. Поселился на полуразрушенной колокольне и отправился в ГИТИС сдавать приемные испытания. Провалился. Показался еще в одном театральном училище. Опять не приняли. И, наконец, в студии известного режиссера и педагога Петровского тоже получил отказ. Но тут хотя бы объяснили — несоответствие внешних и внутренних данных! С виду маленький и тощий, а голос и нутро тянет на героя. Оставалось одно — утопиться. Не мог же он, такой прославленный, отмеченный всеми, вернуться в краснодарский клуб «Путь к коммунизму», потому что его признали негодным для служения Мельпомене!

Одолеваемый мрачными думами, твердо решив проститься с земным существованием, спустился он по битым ступеням своей колокольни и отправился кривыми московскими переулками на набережную Москвы-реки. Глядя на черную плотную воду, на отражение в ней редких фонарей, прощался он мысленно с матерью и сестрой, горячо и нежно любимыми. Прощался со всем прекрасным, что могло бы встретиться на его злосчастном трагическом пути. Примеривался, как прыгать в воду — в башмаках или босиком и что сделать, чтобы пойти ко дну, ведь он очень хорошо умел плавать. Дружелюбное похлопывание по плечу прервало его грустные размышления. Обернувшись, увидел он своего старшего товарища, верного друга и покровителя Жору Осипова, толкнувшего его на эту тернистую дорогу. Уткнувшись в сыроватый ворс Жориного пальто, не стыдясь вдруг хлынувших слез, он благодарил судьбу, пославшую ему близкого человека в последние минуты его жизни.

Жора за это время стал уже настоящим москвичом, работал в театре «Синяя блуза». Правда, жилищные условия его заставляли желать лучшего — он жил в костюмерном складе «Синей Блузы». Помещался этот склад в подвальном этаже на Столешниковом переулке и время от времени заливался водой. Жору это ничуть не смущало. У него была квартира в центре Москвы! Он привел к себе неудачливого утопленника, напоил чаем, уложил спать, а наутро повел определять в «Синюю блузу».

Этот поход увенчался успехом. Очевидно, опыт «Братьев Зайцевых» дал свои результаты.

Театр «Синяя блуза» — живая газета — сыграл не последнюю роль в развитии советского театра. Он состоял из нескольких самостоятельных групп. Каждая из них представляла собой отдельный эстрадный коллектив из десяти — двенадцати человек. Все должны были петь, танцевать, читать стихи и прозу, играть скетчи. Программа строилась по газетному образцу —

передовая, фельетон, новости, отдел юмора и сатиры и прочее. Спектакли игрались во всевозможных клубах, на заводах, на открытых летних площадках — по всей Москве и за ее пределами. Отмечалось их большое агитационно-политическое значение.

Итак, Лев Константинович Колесов стал артистом московского театра «Синяя блуза». Он там быстро преуспел. Занял видное положение. И вскоре стал руководителем одной из групп под названием «Производственной».

Через несколько лет там мы с ним и встретились. «Синяя блуза» приютила меня, когда я приехала в Москву после первого своего профессионального сезона в Свердловске. К этому времени этот талантливый, своеобразный театр начал чахнуть и угасать. Прошла мода на такие театры, бригады малых форм. Рождались и развивались новые, молодые творческие коллективы, вырастающие в серьезные театры иного масштаба. Одаренные люди, которыми «Синяя блуза» блистала в свое время, разбежались по солидным местам. Художественный уровень ее заметно снизился, подчас даже шокировал безвкусными проявлениями.

Шел спектакль на сцене театрального клуба, в подвальчике в Старопименовском переулке. Четыре девушки и столько же юношей, облаченные в не очень чистые, мятые шинели из желто-коричневой бумазеи и в буденовки из той же материи, гарцевали на воображаемых конях. Пели хором, приплясывали, размахивая картонными шашками. Работали с увлечением, с полным сознанием важности своего дела, совершенно не задумываясь, как это выглядит со стороны.

Спектакль кончился. В закулисное помещение, где мы гримировались, отворилась дверь — вошла Вера Петровна Марецкая. Я училась у нее в студии Завадского, очень доверяла ей в вопросах искусства и обожала как актрису. Она отозвала меня в сторону, расстроенная и встревоженная.

— Леночка, — сказала она, — если бы я встретила вас на Тверской торгующей своим телом, мне и то было бы легче, чем сейчас, после того, что я увидела.

Щедро загримированные девицы, скакавшие в неопрятных бумазейных шинелях, кощунственно изображая бойцов Красной Армии, произвели на нее оскорбительное впечатление. Естественно, слова Марецкой повергли меня в отчаяние. Рыдая, я поделилась своим горем со Львом Константиновичем.

— Надо уходить, — сказал он.

Он настолько повзрослел к тому времени, что весьма трезво оценивал обстановку. Он понимал, что «Синяя блуза» находится при последнем издыхании. Сделала свое полезное дело и

исчерпала себя до конца.

Он заставил меня подать заявление об уходе и сам поступил так же. Решительность и строгая принципиальность в вопросах искусства сопутствовали ему всю жизнь.

Мы оба показались в Московском реалистическом театре и были приняты. Художественным руководителем театра только что назначили Николая Павловича Охлопкова. В его первом спектакле, на шумевшем «Разбеге» В. Ставского, Л. Колесов сыграл эпизодическую роль комсомольца Ягло. Непосредственный, живой парень, от переполнявших его чувств он все время вскакивал на носки, как грузинские танцоры. Образ яркий, убедительный, он и в пластическом отношении получился очень интересный — какой-то залихватски-танцевальный. Н. П. Охлопков был так доволен им, что не считал возможным заменить его, когда Лев Константинович заболел.

Между тем старую колокольню давно сломали, жить было нигде. Приходилось снимать углы, скитаться по знакомым, иногда дремать на деревянных скамейках Центрального телеграфа. Бывало, что выручал трамвай буква «Б» — «букашка», как его называли, круглые сутки ходивший по Садовому кольцу. Можно было отлично выспаться: покачиванье пустого вагона ночью приятно убаюкивало. Сердобольная кондукторша будила утром, перед часом «пик»: «Просыпайтесь-ка, куда едете? Четвертый круг объезжаете!» Молодой сон неприветлив. В поздние годы, страдая бессонницей, Лев Константинович часто удивлялся: «Как это можно было спать в трамвае!»

В 1933 году он переехал в Ленинград и поступил в ТЮЗ, где несмотря на свою молодость — двадцать три года — занял прочное положение среди ведущих актеров. В первой же роли он встретился с драматургом, ставшим самым любимым на всю жизнь. В пьесе Евгения Шварца «Клад», поставленной Б. В. Зоном, он сыграл студента-геолога Суворова.

В 1935 году Л. К. Колесов, уже как признанный мастер, был приглашен в только что созданный Новый ТЮЗ.

Самая значительная его роль в Новом ТЮЗе, конечно, Борис Годунов. Совсем молодым актером получил он эту сложнейшую работу. Сколько мучительных сомнений, неуверенности в своих силах... Страх оказаться недостойным прикоснуться к любимому поэту. Помогло упорство, одержимое стремление проникнуть в глубину произведения.

Съемки картины «Путешествие в Арзрум», где ему была поручена небольшая роль, занесли его на Кавказ. Забравшись на одну из горных вершин, он во всю силу своего звучного голоса стал читать монолог «Достиг я высшей власти». Один — среди

синего неба, снежных вершин, легких облаков... Далеко внизу сквозь нежный туман просвечивает земля... Тишина. Он почувствовал необычайный подъем душевных сил... Ощущение такой свободы, такой легкости охватило его, что, казалось, вот и он сейчас взвоет в это синее небо и полетит... И он читал, еще и еще, и с каждым разом все сильнее звучали слова поэта, все явственнее проступала мысль Пушкина. Лев Константинович часто вспоминал этот эпизод. Он как бы вывел его на новый путь работы над ролью.

Венценосный пушкинский герой так прочно завладел душой актера, что он не расставался с ним всю жизнь. И покинув Театр юных зрителей, продолжал серьезную работу над Борисом.

И вот он вышел на эстраду, исполняя всю трагедию целиком. Он играл один все роли, произносил все ремарки автора. К пушкинскому тексту он относился свято, для него было кощунством что-нибудь сократить, изменить хоть один звук. Получился полноценный спектакль в двух актах — театр одного актера. Вначале Лев Константинович репетировал с режиссером Гаккелем. Его не стало. И Колесов продолжал работать один. Пушкин занимал огромное место в его жизни. Он боготворил поэта. Отлично его знал. В обширном репертуаре Колесова-чтеца важнейшая часть принадлежала Пушкину. На всех годовщинах, посвященных памяти поэта, и в квартире на Мойке, и на месте дуэли, он неизменно читал его стихи. Вот отрывок одного из многочисленных писем зрителей, написанных артисту:

«Дорогой Лев Константинович!

Не сочтите за фамильярность обращение к Вам «дорогой». Вы давно по-настоящему дороги каждому ленинградцу, но восьмого февраля на месте дуэли Пушкина Вы стали всем близким и родным. Только глубокое Ваше понимание, любовь к Пушкину, помимо блестящего мастерства, вызвали у Вас такое вдохновение, такую сердечность, такой благородный пафос. Я никогда не забуду сумрак зимнего вечера, Ваш голос, тишину, как будто Вы один у могилы поэта. Безмолвные слезы мужчин и нескрываемые рыдания женщин — люди не стыдились своих слез и сдерживали дыхание, чтобы не пропустить ни одного слова... Казалось, что Пушкин убит только что, только что написано стихотворение «На смерть поэта», так сильно и грозно звучал приговор убийцам...»

Замечательно, и совсем по-другому, читал Колесов Маяковского. В шестнадцать лет он впервые увидел и услышал

поэта на эстраде и навсегда был им пленен. Мне Колесов помог понять и полюбить Маяковского.

В 1940 году Николай Павлович Акимов пригласил Льва Константиновича в Театр комедии, где он и оставался до конца своих дней.

Не буду перечислять множество сыгранных им ролей, не буду останавливаться и на таком шедевре, как его Дракон в пьесе Евгения Львовича Шварца. Мне просто хотелось немного рассказать об этом замечательном актере, не похожем на других, как, впрочем, не похожи ни на кого, кроме себя, и все хорошие актеры. Рассказать тем, кто не застал его, и напомнить о нем его современникам.

Мне кажется, самый длинный период в жизни человека — его детство и ранняя юность. Какой бесконечный день у ребенка, сколько в нем событий, и каких важных! Какие невероятные открытия он делает в течение одного только дня! Сколько раз безысходное отчаяние сменяется бурной радостью. И на всю жизнь запоминаются все детские происшествия.

С годами время движется все быстрее и быстрее, а под конец несется со скоростью пассажирской «Ракеты», летящей по невским волнам. И память не сохраняет ничего мелкого, проходящего, зато глубокие незарастающие следы оставляют события громадной важности, как горькие, так и радостные. Чем дальше, тем рельефнее и четче становятся картины прошлого, прочно угнездившиеся в дальних закоулках памяти, а повседневные впечатления мелькают, не задерживаясь, как невские берега из иллюминатора мчащейся «Ракеты». Самыми «сюжетными» остаются детство и юность, это подтверждается даже схематичной анкетой — половина страницы густо исписана, а в конце всего одна фраза: «в году таком-то поступил туда-то и остался там до конца своих дней». Конечно, для самого героя тут-то только, может быть, и начинается самая интересная, самая плодovitая пора его жизни, но занимательная история для посторонних не всегда из этого получается, не хватает стремительности действия, остроты интриги. Правда, настоящий писатель и без всяких внешних событий может создать увлекательнейший рассказ, но для этого надо быть настоящим писателем!

И все это длинное отступление только для того, чтобы объяснить, почему о первых шагах Льва Константиновича на поприще искусства сказано подробнее, чем о его зрелых годах.

На долю Колесова выпало немало отрицательных ролей. Он не боялся их. Своим учителем избрал он Иллариона Николаевича

Певцова, одного из любимых своих актеров. Певцов, крупнейший мастер советского театра, славился созданием самых противоположных образов (от благороднейших людей до отъявленных злодеев).

Непосредственно он никогда не занимался с Колесовым. Но характер игры Певцова, его интенсивная внутренняя, как бы скрытая с виду, жизнь в спектакле увлекала Льва Константиновича, была ему близка. Он восхищался внешней сдержанностью, даже скупостью проявлений глубоких чувств, восхищался умением думать на сцене, старался учиться этому.

Сейчас в театре много «гениев», они так полны чувства собственного достоинства и презрения к окружающему, что не нуждаются ни в каких устаревших уроках. Тогда «гениев» почти не было, но хороших актеров было много (впрочем, и сейчас они, к счастью, не совсем перевелись) и было чему поучиться у них. Лев Константинович учился всю жизнь. И кстати, кроме всего прочего, Илларион Николаевич научил его никогда не заискивать перед зрителем.

Мне повезло — я играла с ним во многих спектаклях. Он был замечательным партнером. Рядом с ним никогда не покидало ощущение покоя и уверенности, столь необходимое для свободного существования на сцене. Играть с ним было легко и весело, даже в драматических ролях. Хорошее настроение и чувство свободы — главные возбудители творческого состояния. Это воспитал в нас Николай Павлович Акимов. Он шел на репетицию, как на праздник, и умел этим заразить и нас.

Колесов на лету подхватывал любую неожиданность, случайно родившуюся находку. При каждой непредвиденной «накладке», способной вывести из равновесия, он молниеносно находил выход из положения. Его самого, предельно внимательного на сцене, ничто сбить не могло. И даже своей природной смешливостью он умел управлять.

Он никогда не думал только о себе — «не тащил одеяло на себя», как принято теперь говорить. Полностью отдаваясь своей роли, он как бы каким-то третьим глазом замечал любую промашку партнера, о чем в ближайшем перерыве говорил ему с полной откровенностью. Не всем это нравилось. Многие считали его колючим, сердитым. Нет, он болел за спектакль, принимал близко к сердцу малейшее нарушение и даже мог повысить голос. Но по сути своей его всегда существенные замечания актерам были доброжелательны. Тем, кто понимал это, они безусловно приносили пользу.

Пожалуй, самой дорогой и самой важной для него ролью за последние годы был Бернارد Шоу в «Милом обманщике»

Дж. Килти, поставленном Александрой Исаковной Ремизовой. Пьеса очень увлекла и Колесова, и меня, как только нам предложил ее Николай Павлович Акимов. Прочли на труппе — никому не понравилась. Актеры нашли ее скучной, разговорной, бездейственной. Мы огорчились, но не отступили. Все четверо рьяно принялись за нее. Николай Павлович великолепно решил оформление. Александра Исаковна стремительно, в кратчайшие сроки (27 репетиций) выстроила спектакль, а уж о нас со Львом Константиновичем и говорить нечего, так мы были заморожены работой. Помня высказывания труппы, мы были готовы к равнодушию зрителя. Мы решили: если хотя бы двадцать человек в зале примут наше представление, мы будем счастливы.

Каково же было наше радостное удивление, когда премьеру принял весь зал единодушно.

Спектакль повезли в Москву. Играли несколько дней подряд в зале Чайковского при полных аншлагах. Успех, обильная доброжелательная пресса. «Обманщик» был воспринят как событие в театральной жизни Москвы.

Очень странно было узнать спустя некоторое время, что первооткрывателем этой необычной пьесы в Советском Союзе оказался МХАТ, выпустивший своего «Милого лжеца» значительно позже. А нас будто никогда и не было. Тем не менее мы играли своего «Обманщика», играли много, спектакль рос, совершенствовался, как всякий спектакль, в котором в ответственной партии был занят Лев Константинович. Играли бы и до сих пор, если бы жизнь Колесова не оборвалась.

Серафима Константиновна Лишина, более пятидесяти лет проработавшая у нас главным бухгалтером, очень любила этот спектакль и часто, всегда с цветами, приходила смотреть его от начала до конца. Когда не стало Льва Константиновича, она сказала: «Ну вот, и «Обманщика» больше не будет».

Лев Константинович в совершенстве владел и голосом, и речью. Тщательно отработывал каждое новое произведение. Казалось, работа идет у него все время, непрерывно. Он мог позвонить в три часа ночи по телефону: «Прости, пожалуйста, ты не спишь? Скажи, как надо произносить точно французское — «À votre santé»? Или: «Послушай, пожалуйста, этот абзац в двух вариантах. Какой вернее, по-твоему?»

И старые вещи своего репертуара он пересматривал, дорабатывал, шлифовал.

Еще во время войны, в эвакуации, он начал работать над композицией по «Пер Гюнту» Ибсена с музыкой Грига. В течение трех десятков лет он исполнял ее в большом зале Ленинградской филармонии и в других городах страны с неизменным успехом.

Когда Николай Павлович задумал свой интереснейший эксперимент — «Дон-Жуана» по поэме Байрона, роль основного ведущего он поручил Л. К. Колесову. Безупречное владение стихом, мощный голос, проникновение в суть произведения очень помогли успеху этого неожиданного и блестящего спектакля.

Лев Константинович никогда не останавливался на сделанном. Он не говорил: «Эта работа готова», а говорил: «Еще кое-что удалось найти в этой работе». Самодовольство было чуждо ему и непонятно.

Внимательно прислушивался к любому критическому замечанию, даже если оно казалось ему несправедливым, а порой даже нелепым. Он говорил: «Если кто-то так считает, значит повод есть, пусть самый ничтожный. Необходимо подумать, разобраться, сделать для себя выводы».

Я благодарна ему за то, что он и меня этому научил.

У Льва Константиновича Колесова, к счастью, не было деревянной ноги. Зато была непоколебимая верность своей профессии, друзьям и острое чувство справедливости.

ПОСЛЕДНИЙ ВЗГЛЯД

Милый Евгений Львович! Как написать об этом умном и тонком, веселом и грустном, остроумном и добром человеке?

О том, какой он талантливый, какой замечательный писатель и драматург, уже написано немало.

Мне хочется рассказать один случай, в котором, мне кажется, сказывается характер этого удивительного человека.

Евгений Львович был человек невероятно общительный. Эта общительность часто даже мешала ему работать. Вечно у него был полон дом людей. Так что его друзьям, да еще особенно заинтересованным в его работе, приходилось иногда принимать кое-какие меры.

1949 год. Жаркие солнечные дни в Сочи. Идут гастролы Театра комедии. Евгений Львович пишет для театра пьесу.

В первые дни по приезде в это пекло, конечно, невозможно сразу сесть за рабочий стол. В театре у него много друзей, со всеми хочется пообщаться. Наконец решено. Надо приниматься. «Сегодня до вечера не выйду из гостиницы», — говорит он.

Излюбленное место актеров, когда они не на репетиции или не на пляже, — задняя колоннада театра у служебного входа. Своего рода клуб, — «паперть», как ее прозвали. Душа общества, конечно, Евгений Львович. Сегодня его не будет. Сегодня он работает. Но совсем немного времени спустя после начала репетиции (когда художественный руководитель театра Николай Павлович Акимов поднялся на самый верх в репетиционный зал) из-за угла противоположной улицы появляется Евгений Львович. С милой своей лукавой улыбкой приближается он к «паперти», и сразу же раздаются взрывы веселого смеха. Однако когда стрелки часов показывают скорое окончание репетиции, Евгений Львович предпочитает временно удалиться, чтобы не попадаться на глаза главному режиссеру, который торопит его с пьесой. И так почти каждый день. Не всегда удается вовремя улизнуть, и Евгению Львовичу приходится очаровательно оправдываться.

Наконец терпение Николая Павловича истощается. Мы жили тогда, не помню почему, в каком-то странном громадном помещении напротив театра. Две большущие комнаты во втором этаже и колоссальный балкон, выходящий на улицу.

Как-то утром Николай Павлович ушел в театр, вдруг слышу его шаги по лестнице и чьи-то еще. Смотрю — смущенный Евгений Львович.

— Вот что, — говорит Николай Павлович, — я его сейчас запру в нашей комнате. Пусть сидит и работает. Иначе мы

никогда не получим пьесу.

Огромным ключом (соответствующим помещению) запирается дверь, и наступает тишина. Я, стараясь не шуметь, чтобы только не помешать, на цыпочках спускаюсь по лестнице и ухожу на пляж. Возвращаясь с моря, перед самым поворотом к нашему дому слышу знакомые раскаты смеха. Подхожу — большая группа актеров весело хохочет, а на балконе второго этажа запертый Евгений Львович что-то им с удовольствием рассказывает.

Самое интересное, что пьеса все-таки была окончена. Называлась она «Один год», или «Первый год». В связи с этой пьесой мне хочется привести одно замечательное письмо Евгения Львовича, написанное в том же, сорок девятом, году.

Человек удивительно мягкий и добрый, больше всего на свете боялся он кого-нибудь обидеть, огорчить. Нередко сам страдал от собственной доброты, но в творческих вопросах был строг и непримирим. Никакие самые нежные личные отношения, самые глубокие дружеские чувства не могли поколебать его принципиальных позиций, сдвинуть с твердой точки зрения.

Для постановки «Первого года» была приглашена Александра Исаковна Ремизова.

Привожу текст письма без комментариев, из него все будет понятно и так:

«Дорогие Леночка, Александра Исаковна и Николай Павлович!

Вопрос о распределении ролей в моей пьесе — очень сложный вопрос.

Если я его буду обсуждать с вами устно, то непременно собою, запутаюсь, начну перескакивать с предмета на предмет, словом, окажусь менее полезен, чем любой другой нормальный автор в данных условиях. Я слишком свой человек в театре для того, чтобы быть разумным, спокойным и беспристрастным в столь непростом деле. Поэтому я пишу. И буду писать по пунктам, для ясности и убедительности.

Более того, я постараюсь на этот раз, для пользы дела, переломить свою натуру. У меня есть довольно опасное свойство — желание покоя, свободы и мира, и благодати во что бы то ни стало. Поэтому я, бывает, прекращаю спор и уступаю в ущерб самому себе, в ущерб делу. Говоря проще и короче — я все это делаю потому, что не хочу расстраиваться. Обещаю на этот раз — не уступить.

И я очень попрошу тебя, Николай Павлович (напоминаю, что мы выпили у Нади на брудершафт), чтобы и ты отказался на этот раз от кое-каких свойств твоей натуры. Они заключаются в следующем: если кто-нибудь с тобой не согласен, ты искренне начинаешь считать противника своего негодяем, дураком, человеком с нечистыми намерениями и заражаешь своей уверенностью других. Это свойство твоей натуры — тоже иногда опасно для дела. И тоже прекращает спор раньше времени — стоит ли спорить (думаешь ты) с подобными личностями? Короче говоря, ты так же не любишь расстраиваться, как и я, но добиваешься покоя другими путями.

Умоляю тебя: давай на этот раз будем еще умнее и симпатичнее, чем обычно. Ты, я, Леночка, театр, Александра Исаковна — все кровно заинтересованы в том, чтобы задача была решена со всей добросовестностью, на какую мы способны.

Ты, Николай Павлович, можешь сказать: роли еще не распределены. Чего ты шумишь? Увы! Я чувствую, друзья мои, что вы их уже распределили в сердце своем. Я понимаю, как трудно спорить с сердцем, со стихией, так сказать, — но тем не менее начинаю это делать. Иначе меня замучает совесть.

Впрочем, не буду затягивать вступительную часть, а перейду к существу дела.

1. О пьесе.

Ты сказал мне в Москве, Николай Павлович, что пьеса «Первый год» — не из лучших моих пьес, поэтому ее не жалко переделывать. Я готов согласиться, что пьеса моя далеко не гениальное произведение. Но тем более не следует ее переделывать слишком уж решительно. Это классики так мощны, что им ничего не делается, как их ни переделывай. А «Первый год» требует отношения в высшей степени осторожного. Я говорю об этом не потому, что ты требуешь переделок, а по поводу того, что распределение ролей может до того переосмыслить и переиначить пьесу, что она развалится скорее и вернее, чем от реперткомовских поправок.

И в особенности это касается роли Маруси.

2. О Марусе.

Она непременно должна быть чуть-чуть заурядной. Она обязана быть похожей на любую молодую женщину. Она обязана вызывать жалость своей неопытностью и

беспомощностью. Если Марусю не узнают и если она не вызовет к себе жалости — дело пропало.

3. О Леночке.

Прежде всего и раз навсегда — вопрос о возрасте давайте снимем. Хорошая актриса сыграет и грудного ребенка, если характер младенца будет совпадать с ее данными. Не внешними, а актерскими. Несколько минут зритель будет удивляться, видя взрослую женщину в пеленках, а потом привыкнет и поверит. Не возраст меня смущает, Леночка. Ты актриса хорошая и молодая. А я глубочайшим образом убежден, что актерские твои свойства противоположны тем, которые необходимы для Маруси.

Ты можешь на сцене быть кем угодно — но только не заурядной драматической инженю. Ты всегда создаешь образ своеобразный. Острый. Непременно сильная женщина у тебя получается. Непременно! Хочешь ты этого или не хочешь. И много пережившая. И умеющая постоять за себя. Тобою можно любоваться, в тебя можно влюбиться, но жалости, той жалости, которую должна вызвать беспомощная, почти девочка Маруся, тебе не вызвать. Ни за что. Когда ты играешь Ковалевскую — ты вызываешь сочувствие. Сочувствуют всей душой много пережившей и перестрадавшей героине. Для этого в роли Маруси — нет, начисто нет материала. Она тоже не слаба, тоже по-своему воюет, — но по-своему. А не по-твоему. Слабее всего у тебя Ковалевская-девочка, хотя внешне ты выглядишь в первом акте прелестно. Не дал тебе бог красок, которые имеются в изобилии у любой травести и инженю. И не ропщи. У тебя есть гораздо более редкие дары. И радуйся этому. Не искушай судьбу! Умоляю!

4. О судьбе.

У меня, у тебя, Леночка, у тебя, Николай Павлович, судьба не слишком легкая. Нам прежних заслуг не засчитывают! Нельзя сказать, что их не помнят — нет, помнят, и очень даже хорошо. И на этом именно основании ждут, чтобы мы если не перекрыли, то хоть повторили прежние свои рекорды. С нами всегда строги, взыскательны, зорки...

Умоляю, Леночка, — не искушай судьбу?

Время суровое...

5. Обманы зрения.

Когда талантливый человек берется не за свое дело,

а другой талантливый человек помогает ему в этом, то в результате происходит следующий невольный обман зрения. На десятой репетиции талантливый человек играет настолько лучше, чем на первой, что режиссер и актеры приходят в восторг и умиляются. На двадцатой — дело идет еще лучше. Но вот, наконец, приходит премьера и — о ужас! Зрители яростно ругаются. Им дела нет, что талантливый человек играет в миллион раз лучше, чем в начале репетиционной работы. Им подавай безотносительно хорошую игру.

И тут начнется...

Влетит прежде всего мне. Вот, мол, писал сказочки — получалось. Потом влетит Акимову. За что? Так просто. Его считают ответственным за все, что делается в театре. И не без основания. Потом начнут по косточкам разбирать Леночку. Причем я не услышу, что говорят обо мне. Но подробно услышу, что говорят о тебе, Леночка. Услышу то, чего ты, слава богу, никогда не услышишь. Но зато ты обо мне услышишь такое, чего мне и не снилось. Меньше всего достанется Александре Исаковне, потому что она приезжая.

И вот вместо праздника, по нашей общей вине, произойдет нечто унылое, натуралистическое, осеннее. Наслушавшись друг о друге неведь чего, мы невольно выберем друг друга, как враги. Словом...

Умоляю, товарищи, — не будем искушать судьбу.

Если вы со свойственным вам упрямством не сразу согласитесь со мной, то послушайтесь хоть постепенно. Пересмотрите вопрос о Марусе со всей беспристрастностью, на какую способны. Давайте будем мудры и осторожны. Целую вас.

Ваш Е. Шварц.

Мы все трое, к кому было обращено это письмо, сразу же послушались Евгения Львовича и не стали искушать судьбу.

Роль Маруси была поручена прелестной нашей молодой актрисе Людмиле Александровне Люлько. По непредвиденным обстоятельствам, уже совсем не зависящим от нас, спектакль этот тогда так и не вышел. Потом Евгений Львович значительно переделал пьесу, и много позже она была поставлена у нас под названием «Повесть о молодых супругах».

Л. А. Люлько к тому времени несколько повзрослела и перешла на роль старшей подруги, а Марусю играла совсем еще юная тогда В. А. Карпова.

Евгению Львовичу так и не удалось увидеть эту пьесу свою на сцене. Он был уже очень болен. В день премьеры, лежа в постели, он был связан с театром только по телефону. Николай Павлович звонил ему в антрактах и подробно рассказывал о ходе спектакля, о реакциях зрительного зала, об особо успешных местах. Он волновался, радовался и огорчался, как всегда на всех своих премьерах. Это была последняя.

До войны ленинградский Дом писателя славился своими вечерами. Они находились в ведении Евгения Львовича. Он их устраивал, был их хозяином и, главное, их душой. Я уж не говорю о веселейших, остроумнейших встречах Нового года, куда стремился попасть весь Ленинград. Неистощимая его фантазия, ошеломляющий юмор создавали такие аттракционы и развлечения, что, как вспомнишь о них, в ушах так и звучат взрывы бурного хохота. Казалось, что зеркальные окна старого особняка, выходящие на Неву, сотрясаются и звенят от неудержимого смеха.

Вечера бывали самые разнообразные — встречи с музыкантами, учеными, чтецами, артистами — и ленинградцами, и приезжими гостями.

Для каждого театра было честью приглашение показать свою новую работу на подмостках Дома писателя. Обычно устраивался прогон спектакля в незавершенном еще виде — без гримов, без костюмов. Потом было обсуждение, в котором принимали горячее участие видные писатели и критики Ленинграда. Почти всегда вел обсуждение сам Евгений Шварц, подбадривая и увлекая выступающих безграничной своей доброжелательностью. Эти показы были настоящими праздниками для театра — и радостными, и полезными.

А какие прелестные и изящные — просто вечера отдыха! В большом белом зале убирались стулья, вдоль стен ставились столики, покрытые белыми скатертями (кстати сказать, ресторан там в ту пору был первоклассный). Неназойливо, под сурдинку, звучала танцевальная музыка. Можно было и потанцевать, и побеседовать, и послушать стихи. Просторно, не душно, никакой давки. На столики записывались заранее — людей было столько, сколько можно было с удобством разместить. Вечера эти были очень популярны.

За сдвинутыми вместе двумя-тремя столами можно было увидеть Алексея Николаевича Толстого, хлебосольно угощавшего компанию приезжих гостей. Он жил тогда в Пушкине и считался ленинградцем.

Опершись на привычную палку, в кругу жадно слушавших его

почитателей сиживал там и Юрий Николаевич Тынянов. Его смуглое, чем-то напоминающее пушкинское лицо резко выделялось на светлом фоне стены.

Внимательные, восточного разреза, слегка прикрытые веками, печальные глаза Михаила Михайловича Зощенко следили за танцующими парами.

С детским простодушием, приветливо поглядывал по сторонам умнейший и милейший Борис Михайлович Эйхенбаум.

Откуда-то доносился характерный смех Ираклия Луарсабовича Андроникова и стремительная речь, будто вся состоящая из шипящих, испещренная сногшибательными остротами Ивана Ивановича Соллертинского.

Бывал здесь и великолепный Михаил Леонидович Лозинский, как говорили, самый воспитанный человек.

Нередко посещали эти вечера и Константин Александрович Федин, и Борис Андреевич Лавренев, и Вениамин Александрович Каверин — ленинградские писатели, потом переехавшие в Москву, как и многие коренные ленинградцы, предпочтя столичную суету прозрачности белых ночей.

Иногда озаряли зал своим присутствием, окруженные роем поклонников, две блистательные подружки — Татьяна Вечеслова и Галина Уланова.

Спокойная в своей неподвижной красоте, с толстой косой, венком уложенной вокруг головы, возвышалась над столом первая красавица писательского дома — Екатерина Ивановна Шварц.

А сам Евгений Львович, радушный хозяин, всегда оживленный и веселый, с бокалом в руке, появлялся с милой шуткой то у одного, то у другого столика.

Для всех находилось приветливое слово. От одного его присутствия становилось уютно и радостно на душе.

Фантазер, выдумщик, неугомонный рассказчик, он обожал сочинять всякие смешные небылицы про своих друзей и знакомых. Впрочем, на довольно правдивой основе.

У нас в театре долгое время работала одна очень хорошая актриса. Славная, добрая, но ужасно рассеянная. Евгений Львович всегда подтрунивал над этой ее особенностью и любил рассказывать про нее всякие истории. Делал он это очень мягко, увлекался и потешался сам своим рассказом. То он сообщал нам, как она сидела на балконе, что-то шила, и вдруг приносят с улицы выброшенные ножницы, а карман нового халатика дымится от горящего окурка; то рассказывал, как она принесла на именины аккуратно перевязанную коробку с пирожными, а в ней

оказался приготовленный на выброс мусор, и Шварц сокрушался, кому же достались попавшие на помойку пирожные, — хорошо, если какому-нибудь бездомному голодному щенку, а то вдруг недостойному алкоголику и он будет так несправедливо вознагражден за свои безобразные пороки.

Но самая любимая его новелла была о том, как она однажды ехала в метро. Евгений Львович принимал вид заговорщика и, сотрясаясь от характерного для него внутреннего смеха, таинственно повествовал, что вагон был набит до отказа, и вдруг она почувствовала, что кто-то ее ущипнул. Возмущенная, она обернулась — за ее спиной стоял солидный, пожилой полковник. Она обожгла его испепеляющим взглядом, но щипок повторился опять и опять. С гневным возгласом: «Прекратите это безобразие!» — она обернулась вновь и встретила со спокойными глазами полковника, несколько удивленного таким странным выпадом.

Подъехали к остановке, большинство публики вышло из вагона. Что-то царапнуло ее по ноге, раздались голоса оставшихся пассажиров: «Из вас! Из вас!..» По проходу неслась испуганная, но счастливая мышь, вырвавшаяся на свободу.

Сама героиня этих рассказов ничуть не огорчалась, хохотала вместе со всеми и даже была несколько польщена.

Удивительно наблюдательный Евгений Львович все подмечал и, казалось, видел человека сквозь увеличительное стекло.

Людей он очень любил. Подшучивания его, иногда довольно острые, никогда никого не обижали. Наоборот — веселили и радовали.

Последний раз я мельком видела Евгения Львовича совсем незадолго до его смерти. Я шла по Невскому. На углу улицы Толмачева остановилась машина. В ней сидели Евгений Львович и Екатерина Ивановна. Они ехали к врачу. Евгений Львович широко улыбнулся, помахал рукой, и машина завернула на Невский. Я еще подумала, какая у него удивительная, радостная и веселая улыбка. Так с этой улыбкой он и ушел для меня в небытие.

ПЕЩЕРА ВОЛШЕБНИКА

В творчестве многих художников женский портрет занимает особое место.

Модель вдохновляет художника. Есть портреты знаменитостей и никому неизвестных людей. Часто мы смотрим на портрет какого-нибудь прославленного человека и нас, в первую очередь, интересует модель, даже если портрет сам по себе и не очень хорош. Иногда мы восхищаемся рисунком или живописью лица никому неизвестного и нам неважно, кто изображен на портрете. Случайно на какой-нибудь выставке услышишь: «Зачем выставляют портрет такого неприятного человека? Есть более достойные люди!»

Но разве на выставке художника не самое важное и не самое интересное работа самого художника, портреты художника, а не люди, изображенные им. Мы часто видим замечательные портреты каких-нибудь нестоящих людей и очень неудачные — хороших и добрых. Но мы ведь смотрим произведения данного художника, и нас прежде всего интересует его искусство.

Когда даже самый высокий мастер принимается за новый портрет, он не знает, что у него получится. Будет ли это шедевр, или профессиональный рисунок, достигающий сходства, но малоинтересный, или просто неудача. Ведь в этом-то и есть удивительная, непостижимая тайна искусства.

Может быть, искусствоведы думают иначе. Они все понимают, все могут объяснить — им и книги в руки. Но мне кажется, загадочность тайны всегда притягивает.

Бывает, что художнику надо кого-то нарисовать. Взяв в руки карандаш, он либо загорается по ходу дела, либо остается спокойным и заканчивает рисунок на своем профессиональном уровне.

Бывает, что человек ему интересен и симпатичен, ему хочется изобразить его как можно лучше, но он не вызывает в нем того таинственного вдохновения, при котором получается истинное, высокое произведение искусства.

А бывает, что художнику необходимо нарисовать данное лицо. Не потому, что надо, а потому что ему это необходимо, потому что оно, непонятно почему, вызывает в нем то необыкновенное творческое волнение, которое почти всегда обязательно приводит к удаче. Встречи с такой моделью он ждет как праздника, и самое начало работы над ней уже праздник.

Портретов у Акимова очень много. Самых разных.

Знаменитых деятелей искусств и науки, писателей, режиссеров, актеров, музыкантов, художников. Людей самых разнообразных профессий и возрастов.

Николай Павлович всегда очень интересовался молодежью. Любил ее, верил в нее, стремился помочь ей. Многие молодые художники, актеры, режиссеры, искусствоведы и даже драматурги, наверное, не раз вспомнят о нем с благодарностью.

Обладая необычайной работоспособностью, будучи невероятно загруженным в театре, в институте, в различных областях общественной деятельности, он ненавидел и не умел отдыхать. Он очень ценил время, поэтому и успевал так много. Лучшим отдыхом для него было рисование портретов.

Если он все же вынужден был поехать в какой-нибудь дом отдыха или санаторий и даже находил там соответствующие модели, он старался довести свое пребывание до минимума и возвращался в Ленинград.

И вот здесь, в мастерской, где все нужные предметы под рукой, он мог предаваться своему собственному, ему одному присущему отдыху. Ни репетиций, ни занятий, ни лекций. Свободное, неограниченное время для вольного рисования.

Не торопясь, он выбирал бумагу. Ощупывал ее фактуру, вглядываясь в оттенок цвета. Смочив водой, натягивал на подрамник, слегка прикасаясь пальцами, чтобы не повредить влажную поверхность, аккуратно разглаживал ее. Тщательно вымытые прозрачные стаканчики наполнялись водой. Открывались заветные футляры, где хранились особенно любимые, «драгоценные» кисточки. Карандаши, резинки, пастель становились почти одушевленными в этом торжественном, праздничном процессе подготовки. Сам процесс этот уже был началом отдыха, доставлял удовольствие.

Наконец модель усаживается на место. Острый взгляд в очках, без очков и первый штрих... Скованная, застывшая поза не нужна. Чем свободнее держит себя модель, тем свободнее и легче движение руки.

Детям трудно сидеть на месте, но при таком вольном неумолимом позировании удавались и детские портреты.

Вот Елена Кочелаева и Елена Бицкая — молодые художницы.

Раиса Прокофьева, студентка, будущий врач.

Инга Ландер — преподавательница английского языка. Николай Павлович называл ее «Пушкин», что-то в облике ее напоминало ему поэта в его юные годы.

Таня Чернова — дочь композитора.

На фоне скульптурной мастерской портрет девушки.

Два портрета ленинградских студенток.

А это Сережа — внук художника. Убирая после работы свои драгоценные кисточки в футляры с нафталином, Николай Павлович часто говорил, как бы хотел он, чтобы Сережа когда-нибудь работал этими кисточками и так же бережно к ним относился.

Портреты Николая Павловича Акимова широко известны. Главным образом — портреты деятелей искусств.

Вот они смотрят со стен, у каждого свой характер, своя жизнь.

Мастерская Акимова — «пещера волшебника», — как восклицал Михаил Леонидович Лозинский каждый раз, когда приходил в нее взглянуть на новые работы. Здесь и у каждой вещи своя история.

Вот черная деревянная собака-скамейка. Ее биография непроста. Когда еще до войны Николай Павлович ставил «Двенадцатую ночь» (первый вариант), в парке у Оливии он поместил такую скамеечку. Она настолько понравилась ему самому, что он заказал такую же для нашего дома. Очень оценила ее маленькая Аня — скакала на ней верхом.

Когда после войны, вернувшись в Ленинград, мы зашли в нашу бывшую квартиру, мы были потрясены — нас встретил наш черный деревянный старый пес с загнутым крючком хвостиком.

В квартире жили совсем чужие люди. Они поселились в ней, когда разбомбило их дом, и прожили там всю блокаду.

Они сохранили многие наши вещи и эту собаку. Собаку, сделанную из большого куска сухого березового дерева, — ее хватило бы не на одну топку. Чужие нам люди, оставшиеся без крова, таскавшие воду на пятый этаж по крутой лестнице. Как же не удивляться им, не вспоминать с благодарностью? А главное, они сохранили самое драгоценное для Николая Павловича — толстую картонную папку со всеми его работами. Она бы тоже отлично горела. Три портрета обгрызли крысы — так они и хранятся в память тех страшных зимних дней. Остальное все цело. И рисунок сангиной художника Яковлева, учителя Акимова, находившийся в той же папке. Теперь он висит здесь на стене над портретом Николая Павловича — крупные рыжие руки и большая ступня.

Вот маленькая подушечка в полосатой наволочке. Рассказ о ней будет длинный.

Один из самых праздничных, веселых и необычных спектаклей, поставленных Акимовым, — «Святыня брака» Лабиша. Он шел в мюзик-холле, когда Николай Павлович руководил там экспериментальной мастерской, еще до прихода в Театр комедии.

Он всегда мечтал о синтетическом театре и в этом представлении попытался осуществить свою мечту.

В спектакле были заняты драматические, балетные и цирковые артисты. Было много музыки, вокальных дуэтов, цирковых аттракционов. Великолепную музыку написал Алексей Семенович Животов, цирковые номера ставил замечательный Иван Руфович Руф, над пантомимой работала изобретательная Зинаида Викторовна Рикоми, для помощи драматическим актерам была приглашена Александра Исаковна Ремизова — молодой режиссер Вахтанговского театра.

Сверкающий занавес из красного бархата с бесчисленным множеством стеклянных трубочек напоминал ослепительную хрустальную люстру. Задорная, лихая увертюра так и подмывала пуститься в пляс. Уже самое начало сулило зрителю веселый радостный праздник.

Актерский состав украшали две кинозвезды — Софья Магарилл и Людмила Семенова. Участвовали Ю. Лавров, Б. Чирков, В. Таскин, А. Зилоти, П. Гусаков. Насыщенный неумной фантазией Акимова, спектакль шел ежедневно при полных аншлагах.

В одной из картин на сцене стояла громоздкая мебель. Огромный диван и два неуклюжих кресла.

Каково же было удивление публики, когда в напряженный момент сценического действия актеры с легкостью поднимали эти тяжелые предметы и швыряли ими друг в друга. Это было одно из любимых мест Николая Павловича. Понятно, что мебель была надувная, резиновая.

И вот в доме появилось загадочное лицо с тихим голосом, в круглых очках — Борис Михайлович Комогоров. У нас назывался он — «резиновый человек». Первое его появление было связано с навигацией.

Николай Павлович увлекался резиновыми лодками, любил путешествовать в них по узким извилистым речкам с живописными берегами. Резиновая лодка была у него стандартная — тупорылая и широкая, похожая на маленького кита. Они долго сидели с Борисом Михайловичем, склонившись над столом, что-то чертили, что-то высчитывали...

Недели через две «резиновый человек» появился снова. Вид у него был еще более загадочный, глаза за очками хитро щурились. Он что-то шепнул Николаю Павловичу, и меня попросили минут на десять выйти из комнаты. Когда меня пригласили обратно, я увидела на полу длинную, узкую, как серебряная стрела, лодку новой конструкции. Изящная, красивая, она состояла из довольно тонких резиновых трубок, которые по отдельности надувались

велосипедным насосом.

Обычно Николай Павлович отправлялся в плавание вдвоем или втроем с кем-нибудь из своих приятелей, при неизменном участии старого и верного его друга Александра Александровича Кроленко. Излюбленный маршрут шел по бесконечным извивам прелестной речки Оредеж. В тот год мы жили на даче под Сиверской, на самом берегу этой реки, в деревне Даймище. Николай Павлович не расстался и со старым «китом». На воду была спущена целая флотилия — блестящий серебряный флагман, острым носом режущий речную гладь, а за ним, переваливаясь, покачивалась косолапая посуда, к восторгу деревенских мальчишек. Им разрешено было воспользоваться этим судном. Надо сказать, что радость Николая Павловича была не слабее восторга ребятишек. Ему не терпелось поскорей отправиться в путь. Не дождавшись приезда Александра Александровича — он должен был прибыть на следующий день, — мы водным путем поехали в гости к Михаилу Леонидовичу Лозинскому, жившему на берегу все той же речки под Лугой, в Черемушках.

Но при чем же здесь подушечка в полосатой наволочке? До нее мы еще дойдем.

Тогда, как и теперь опять, в моде было старинное красное дерево. Гонялись за «ампирами», «Павлами» и «Александрами». Акимов этого не признавал, считал мещанством. Был у него только старый-старый секретер, купленный на первый гонорар. В нем он размещал все свое хозяйство. Мебель у нас стояла только самая необходимая, удобная и, разумеется, не оскорблявшая глаз безобразием.

И вдруг все, кроме старика секретера, письменного стола и мольберта, выкидывается. Появляется опять «резиновый человек» — выражение лица его уже становится демоническим, — и велосипедным насосом он надувает нам диваны, матрацы, кресла, пуфы. Заказываются полосатые чехлы, из остатков которых и сделана эта маленькая полосатая наволочка.

Не буду скрывать, резиновая вакханалия длилась недолго. По ночам мы часто просыпались от звука выстрела, взлетая на надувном ложе. Это внутри матраца лопались шнуручки, соединяющие верхнюю и нижнюю стенку. Наши гости пугались внезапных взрывов и скачков. Бывало, что вдруг все шнуручки разом выходили из строя и друзья наши под злое шипение медленно опускались на пол. Пришлось отказаться от этой легкой, гигиеничной и оригинальной обстановки.

Когда пришла мода на полированные современные гарнитуры, все стали избавляться от старого «хлама».

Комиссионные магазины были забиты подчас чудесными старинными вещами. И продавались они по дешевке. Николай Павлович этой модой не увлекся, хотя кто как не он создавал блестящие современнейшие интерьеры на сцене. И тут в доме начали появляться неожиданные, иногда непонятные, но всегда замызганные и поломанные предметы из старого красного дерева. Какие-то колонки, дверцы, отпиленные куски шкафов. Все это приводилось в порядок и собственными руками, и при помощи замечательного мастера нашего театра, краснодеревца и столяра Михаила Романовича Соловьева. Из них создавались своеобразные полочки, шкафчики по точному расчету, для строго определенных целей. Из этих «комиссионных обломков» возникали иногда и широкие разлапистые кресла со сфинксами и с бронзовыми инкрустациями или изящные необычные не то этажерочки, не то какие-то длинноногие столики с зеркалами и дверцами. Все, конечно, требовало немалой починки. Занятие это увлекало и радовало — откуда только бралось время.

Любовь к таинственным необычным вещам всегда жала в Николае Павловиче. Он старался придать им смысл и использовать их для дела. Бывали иногда и просчеты, но очень редко.

Например (правда, очень давно, еще до войны), к нам на пятый этаж по узкой лестнице два грузчика из комиссионного магазина, громко топая ногами, внесли четыре толстенные, тяжеленные тумбы из карельской березы, широкие толстые доски из этого же дерева и кучу кафельных плиток с яркими картинками. Это оказалось детской кроваткой для нашей, тогда еще совсем маленькой, дочки. Когда ее собрали — трудились грузчики и вся семья более часа, — она заняла четверть комнаты. Вместо обычных решеток на прочных медных петлях опускались и поднимались глухие перила из двойных досок карельской березы с вставленными кафельными плитками. Одному человеку управляться с ними было не под силу. Толстые тумбы служили ножками. Сдвинуть ее с места было невозможно. Вид у нее, действительно, был ни на что не похожий. Никогда, нигде я такого больше не видела. Николай Павлович сказал:

— Но Анята ни за что отсюда не вывалится!

Это, конечно, было главное достоинство кровати и, пожалуй, единственное. Она постояла некоторое время. Анята в ней даже спала. Все поудивлялись на это сооружение, повосхищались, и оно смиренно перебралось в кладовку. Толстые ноги ее больше не попадались на глаза, надеюсь, они согрели кого-нибудь в холодную военную зиму.

На половинке распиленного шкафчика живет музыкальная

шкатулка. Когда я завожу ее и слушаю из другой комнаты, мне иногда кажется, что это сам Николай Павлович развлекается своей любимой игрушкой.

Одна наша приятельница привезла нам из-за границы маленькую швейцарскую куколку. Она заводилась ключиком, вертелась вокруг своей оси и играла фразу из сонаты Бетховена. Это был толчок к увлечению музыкальными шкатулками. Как правило, они приобретались расстроенными и сломанными, помощь могли оказать любители-часовщики. Частым гостем в доме стал старый актер Александровского театра Анатолий Павлович Нелидов. Страстный любитель и коллекционер и замечательный мастер починки старинных часов. Дома у Анатолия Павловича все стены были увешаны часами. Когда начинали нежно играть куранты, куковали кукушки и вмешивался мерный многоголосый бой разнообразных часов — удивительное создавалось впечатление. Вся атмосфера в доме была необычайно приятная. Радужные милые хозяева. Анатолий Павлович обладал острым юмором, был великолепным рассказчиком. Жена его, мягкая, уютная, в молодости была очень красива. Это ей посвятил Блок свои знаменитые стихи: «...Я послал тебе черную розу в бокале...» И в тот вечер в ресторане все происходило именно так, как сказано в стихотворении Блока.

Конечно, увлечение музыкальными шкатулками повлекло за собой и увлечение часами. Вот они стоят, похрипывают при тиканье. Прежде чем бить — шипят. Трудно им приходится. Возраст солидный. Нет уже их целителя Анатолия Павловича. Нет пришедшего ему на смену потомственного ленинградского часовщика Романа Петровича Александрова. Так неожиданно и удивительно было узнать в этом серьезном уважаемом мастере товарища детских лет, участника эпопеи с поганками. А часы все идут...

Теперь их хриплое дыхание поддерживает молодой, талантливый специалист Владимир Николаевич Томалинцев. В них пульс мастерской. Она живет.

В маленьком шкафчике, увенчанном крошечными медными колонками — в них превратились шишечки от шнурков старых штор, — живет веселая компания персонажей «Двенадцатой ночи».

Особенно хороши: Мария — Ирина Петровна Зарубина — лукавая и соблазнительная в длинной ночной рубашке и Антонио — Алексей Владимирович Савостьянов — внушительная яркая фигура в красном плаще и полосатой повязке под широкополой шляпой.

Это фарфоровые фигурки работы ленинградских скульпторов, двух сестер — Натальи и Елены Данько. Влюбленные в наш театр, в этот спектакль и, конечно, в Николая Павловича, они не пропустили ни одного представления «Двенадцатой ночи». В знак восхищения они преподнесли ему деревянный ящичек, где, аккуратно упакованные, лежали славные жители страны Иллирии. Все исполнители ролей получили по такой же маленькой скульптурке — свои портреты в этой пьесе. Помимо удивительного изящества и внешнего сходства, была тонко схвачена манера и пластика каждого исполнителя. Третий экземпляр этих очаровательных куколок хранится в Русском музее, а талантливые создательницы их погибли в ленинградской блокаде.

Вдоль арки, пересекающей мастерскую, висят колокольчики, подобранные по гамме. Они попали сюда из разных стран, из разных эпох. Солидный и официальный — со служебного стола какого-нибудь сенатора, миниатюрный и замысловатый, наверно, звенел в руке легкомысленной француженки, этот дежурил у кресла капризной помещицы, по звонку того, наверно, меняли блюда за обедом... Вот этим мальчик в белых кружевах созывал молящихся в католической церкви, а тот — просто висел на шее у коровы, заботливо привязанной швейцарским пастухом. Тут есть и колокольцы с дуги русской тройки, и бубенцы масленичной вейки. Здесь и китайская игрушка из тонких разрисованных кусочков стекла, прикрепленных нитками разной длины. Ветер приводит их в движение, и они нежно позванивают. Она так нравилась Николаю Павловичу, что он сам сделал точно такую же, только стеклышки немного потолще, но эффект не хуже.

Акимов не коллекционер в точном понимании этого слова — лишь бы собрать побольше и поразнообразнее, расширить, увеличить коллекцию... Он собирает столько, сколько ему нужно для определенной цели.

Он не устанавливает у себя ряды старинных плевательниц красного дерева, хотя, безусловно, они могут представлять интерес для коллекционера. Но две — в разных углах — у него стоят. Они восхищали его простотой конструкции и гигиеничностью: подошел, не нагибаясь нажал деревянную ручку, открылся ящичек, плюнул в насыпанный внутри песок, и захлопнулась крышка!

Одним из любимейших его развлечений было посещение коренных ленинградских старушек, обладательниц захламленных кладовок, антресолей и чердаков. Какими только сокровищами не набивал он у них свой портфель! Старые гвозди с медными шляпками, обрывки ржавых цепей, куски деревянных

позолоченных багетов, металлические бляшки, поломанные останки украшений давно уже не существующей мебели. Все это сортировалось, скреблось, чистилось, протиралось, полировалось и находило свое место. Удивительная способность особым образом все использовать, из чепухи извлекать поразительные результаты. Вещи, казалось бы, ни к чему не применимые, превращались в произведения искусства.

Один наш французский друг, старый повар с элегантной наружностью профессора изящных искусств, приезжал с визитом в Советский Союз. Мы подружились с ним во время нашего пребывания в Париже в 1966 году. В его лице сочетался весь обслуживающий персонал маленького ресторанчика (жена — за кассой), которым он владел неподалеку от Комеди Франсэз. Мы часто обедали у него, и у нас завязались очень милые отношения. Когда я простудилась и в проливной дождь не рискнула выйти из дому, он был так внимателен, что прислал мне в судочке обед и бутылку горячего молока, закутанную в теплый шарф, чтобы не остыла.

В Ленинграде он нас навестил и, как водится, привез маленькие подарочки. Мне он подарил настенный медальон — мелкие разноцветные засушенные цветочки под стеклом в витиеватой золоченой рамке. Чувствовалось, что это было выбрано с любовью, от души. Я не люблю золото, не люблю его цвет. Я не знала, куда мне ее пристроить, очень уж она не подходила мне. Но не хотелось небрежно обойтись с ней, пренебречь искренним сердечным движением.

Николай Павлович сказал: «Дай-ка сюда», и через минуту я увидела ее у него на стенке. В окружении латунных вещей, медных бляшек она выглядела прелестно.

Мне очень хотелось в Париже навестить этих симпатичных людей. Они, очевидно, переехали, я не могла их найти. Случайно очутившись на загородном кладбище, я внезапно набрела на две скромные могилы рядом и прочла их имена — его и его жены.

А вот и всевозможные зеркала — жестяные, медные, латунные... Выпуклые и вогнутые, покрытые амальгамой автомобильные фары и оптические стекла, есть даже черное зеркало. Очень старые, и современные, и придуманные им самим. В некоторых видишь себя, будто в комнате смеха Парка культуры и отдыха. Разглядывая в них отражение отдельных предметов или частей комнаты, Николай Павлович находил особые ракурсы, которые нередко применял в своих работах.

Большая высушенная тыква с тонкой талией превращена им в настольную лампу. На вершине конусообразного абажура из

толстой промасленной бумаги — острый латунный наконечник, а внизу болтается медная подвеска с конской сбруи азиатской упряжки. Это память о далеком Таджикистане, приютившем нас в тяжелое время. Ее соотечественница, маленькая детская тыквенная погремушка с кисточкой из тоненьких ремешков, по прошествии стольких лет вдруг ни с того ни с сего стала выделять сок, и на стене под ней расплзается темное причудливое пятно.

Плетеная ивовая корзина, хранительница рулонов бумаги, пришла к нам из знаменитого нашего давнего спектакля «Валенсианская вдова» Лопе де Вега в переводе Михаила Леонидовича Лозинского. Из той прекрасной театральной Валенсии, где в бокалы лилось светящееся вино, кружева на черном бархате отливали жемчугом. В больших корзинах очаровательный, смекалистый разносчик разносил апельсины. В пьесе этот персонаж не существует. Николай Павлович придумал его, чтобы оживить сцену трех влюбленных кабальеро, торчащих под окнами жестокой вдовы. Их длительное дежурство у неприступного дома требовало подкрепления — и появился разносчик апельсинов. Эта бессловесная роль была поручена очень хорошему актеру И. А. Смысловскому. Он увлекся и пошел дальше, создав очаровательный образ, развивающийся по ходу спектакля. В первом акте это почти оборванец с корзиной апельсинов, всучающий свой товар несчастным влюбленным. Во втором — он уже сидит на складном стуле перед небольшим лотком, где кроме апельсинов красуются и прохладительные напитки. А в третьем акте он открыл целый ресторанчик под полосатым тентом, с несколькими столиками. Он преуспел, принарядился и, как заправский метрдотель, обслуживает терпеливых поклонников. Огромные бутылки вина оплетены ивовыми прутьями, они же обвивают изящные маленькие скамеечки...

В углу, в прихожей, несколько тросточек. Среди них затесался почему-то длинный бамбуковый посох. А сколько всевозможных щеточек, веничков, метелочек, кисточек топорщится по стенам и углам. Напротив окна — длинный недействующий барометр в деревянном обрамлении, в прошлом корабельная принадлежность. По непроверенным слухам, он участвовал в японской войне.

И все это необходимо. Все это создает ту единственную атмосферу, которую не встретишь нигде. На всем лежит печать личности Акимова, все сделано его руками. Все поставлено, повешено им самим так, как это было нужно ему. И гвоздики с блестящими шляпками, найденные в чуланчиках у старушек, он сам вбивал в дверцы стальных шкафчиков и антресолей. И кафель

над таганком расписывал сам, вызывая на соревнование своих учеников.

Ему всегда хотелось жить на берегу Невы. Ему нравилось здесь.

И вот когда мы переезжали на Петровскую набережную, грузчики говорили: «Надо же, рухлядь какую перевозят».

Да, ценных вещей нет. Но есть вещи — бесценные. Пропитанные жизнелюбием Николая Павловича, его талантом.

Улица. Широкая, длинная, такая длинная, что конец ее теряется где-то вдаль. Много зелени, много цветов. Аккуратно подстриженный газон, яркий и свежий благодаря маленьким фонтанчикам, расположенным рядами. Они включаются перед заходом солнца.

Низенькие светлые домики — два-три этажа. Отдельные особнячки и так называемые «апартаментхауз» — дома с несколькими квартирами. В каждую квартиру отдельный вход, в верхние этажи ведут наружные воздушные лестницы. Очаровательные домики. В каждом из них живут люди, разные люди. У всех своя особая жизнь, одна не похожая на другую.

Невольно заглядываешь в эти приветливо распахнутые окна в послеобеденные часы, когда спадает жара. Вот уютная гостиная. Глава семьи сидит в кресле-качалке, читает газету. Тут же хозяйка — вяжет. Играет радио. Спокойно, уютно.

А здесь? Глава семьи в мягком кресле, с газетой. Рядом жена с вязаньем. Играет радио.

А тут? Глава семьи... ах, мы уже заглядывали в этот домик! Нет, тот был розовый, а этот голубой — и опять глава семьи в кресле, газета, жена, радио, вязанье.

Вон хорошенький зеленый домик, интересно заглянуть туда. Там, наверное, что-нибудь особенное, неожиданное. Скорей, скорей к этим окнам, где ветерок так заманчиво приоткрывает чистенькие прозрачные занавески... Не может быть! Опять кресло, газета, вязанье, радио...

А по утрам кажется, что весь воздух пропитан запахом кофе, жареного бекона и яичницы. И уже не хочется заглядывать в эти прелестные домики. Глава семьи, наверное, сидит за столом и ест яичницу, жена наливает кофе. И в розовом, и в желтом, и в голубом — кофе, бекон, яичница...

Утро довольно раннее, но солнце уже высоко. Улица начинает оживать. Вот на велосипеде проносится газетчик. Не останавливаясь, бросает свернутые газеты к двери каждого домика. Вот домашние хозяйки с большими корзинами на колесиках идут на базар. Все по-разному ощущают свежую утреннюю прохладу. Одним холодно — они в меховых шубках и в шлепанцах на босу ногу. Другим жарко — у всех по-своему циркулирует кровь, — они просто в купальных костюмах,

подставляют полезным ультрафиолетовым лучам свои плечи, спины и ноги.

На голливудских улицах ничему не удивляются. Здесь можно встретить людей в любых костюмах из любых эпох. В перерывах между съемками они завтракают в ресторанчиках поблизости от студий. За одним столиком может очутиться дама в пудренном парике и полуголый дикарь, выкрашенный в разные цвета. Правда, среди множества вольных ресторанов попадаются изредка и чопорные, куда не пускают женщин в брюках, мужчин без галстуков.

Вслед за домашними хозяйками спешат в школу ребяташки. Бегут налегке, без книг и тетрадей. Уроков им на дом не задают. Вихрастые мальчишки и кокетливые девочки, некоторые уже с маникюром на руках. Следить за собой приучают их очень рано. Вон крошечная девочка, ее везут в коляске, она еще не умеет ходить, пожалуй, и до года еще не дожила, но на тоненьких, совсем еще реденьких волосиках уже перманентная завивка.

Солнце поднимается выше. Улица наполняется служащими, они торопятся на работу. Сколько девушек, и каких очаровательных девушек! Еще бы, ведь все самые красивые девушки съезжаются сюда, в Голливуд, из самых дальних уголков страны. Недаром в Америке так любима тема Золушки. Все они стремятся сюда в надежде встретить сказочного принца. Он пригласит их сниматься в кино — сделает звездами. Карьера кинозвезды — предел мечтаний. И они улыбаются вам из газетного киоска, из-за прилавка, из-за стойки с фруктовыми соками. Нежная улыбка встречает вас в кассе магазина, в прачечной, в кафе. Все улыбаются, везде очаровательные улыбки с чудесным оскалом ослепительных зубов. Они вас радуют день, два. Вы не можете понять, почему эти девушки до сих пор улыбаются вам из-за прилавков и стоек, а не украшают своими прелестными улыбками экраны кинематографов. Вы удивляетесь день, два. На третий эти улыбки кажутся вам немного приторными, на четвертый — вы не знаете, куда убежать от них, на пятый — вы счастливы встретить хмурое, злое, неприветливое лицо. Это редкость.

Одну очень милую девушку, не обладающую привычкой улыбаться, участливо спросили: «У вас большое горе? Почему вы не улыбаетесь?»

Улыбаются все. Старание быть как можно привлекательнее и соблазнительнее делит улыбающихся девушек на два вида. Роковые и инфантильные. У первых прямые волосы закрывают половину лица. Ходят широким шагом в брюках или в свободных одеждах, обнажая кусок спины, плечо или часть бедра. Улыбаются

загадочно, томно прищуривая глаза, и хохочут низким смехом, во всю ширь разевая пасть, полную восхитительных зубов. Большие, увеличенные помадой, приоткрытые рты считаются очень сексуальными у «рокового» лица. Говорят хрипловатым низким голосом. Немногословны.

Инфантильные — в локончиках, в кудельках, в бантиках и в оборочках. Они мило щебечут, слегка присюсюкивая, таращат хорошенькие глазки, складывают губки сердечком или улыбаются с детским лукавством, сверкая безупречными жемчужными зубками, очаровательно морща носики. Такие милые наивные девочки. Этот вид более распространен, чем первый.

Привычка улыбаться, привычка казаться милой маленькой девочкой внедряется глубоко и прочно. Вы можете встретить почтенную симпатичную старушку в ярко-розовой шляпке с бантиками и с цветочками. Она будет улыбаться вам и разговаривать детским тоненьким голоском. Она совсем одинока. У нее есть сбережения. Она копила их долго на «черный день», в юные годы отказывая себе во всем. Ей очень много лет. Надо торопиться истратить накопленное — оставлять некому. Денег много, а времени мало. Почему же не позволить себе пережить третью-четвертую молодость, надевая пестренькие шляпки, яркими яблочками поддурманивая щеки, весело лепеча со старушками-подружками, потягивая сладкое винцо в уютном кафе.

Впереди большая витрина. Что происходит там? Кажется, что-то страшное. Человек с закрытыми глазами, закутанный в белую простыню, вверх ногами лежит в кресле. Склонившись над его лицом, на низкой круглой скамеечке сидит другой, тоже весь в белом. Что он с ним делает? Бреет. Бреет, удобно сидя на скамеечке. Специальным рычажком поворачивает клиента вместе с креслом так, как ему нужно. Клиент дремлет, чтобы не терять времени.

Встречаю знакомую. «Как поживаете?» — приветливо кричит она. «Хорошо, благодарю вас, а вы как?» — «О, спасибо, прекрасно!» — озаренная безмятежной улыбкой, отвечает она и потом долго жалуется, сколько ужасных неприятностей навалилось на нее и как ей не везет в жизни.

А по улице несутся машины. Сколько их! Не только роскошные «кадиллаки», «паккарды» и другие последние модели. Здесь можно встретить такие экземпляры, каких, пожалуй, не увидишь больше нигде. Вон старичок. Его машина явно переделана из старинной кареты. Высокие невиданные колеса. Не спеша едет он по своим делам, важно возвышаясь надо всеми, высока поглядывая на обтекаемые кузова новых выпусков. Вон

группа веселых головорезов — мальчишек по пятнадцать — шестнадцать лет. Их человек десять набилось в машину. С гордостью несутся они вопреки всем светофорам. Они по частям на складах утильсырья собрали свой автомобиль. Неважно, что он не покрыт капотом, что из него торчат какие-то пружины и приспособления вроде самоварной трубы. Неважно, что он весь перевязан веревками, а сиденья давно позабыли, что были чем-то обиты. Важно, что они едут, да как быстро и весело.

А вон еще какой изобретательный человек. К низенькой детской тележке приспособил мотор, руль и даже гудок. Как он искусно лавирует в потоке машин, поднимаясь над землей всего лишь на несколько вершков.

Хорошая вещь комфорт, только когда он не владеет вами.

Один молодой американец жаловался мне. Он безумно влюблен и страшно тоскует, что видит свою девушку только один раз в неделю. «Вероятно, очень заняты?» — сочувственно спросила его я. «Да нет, — сказал он, — вечера у меня все свободные. Но военное время. Очень маленький лимит на газолин. Хватает всего на одну поездку в неделю». — «А на трамвае или пешком?» — «Ну что вы, это же очень неудобно».

Не знаю, какая наша девушка простила бы своему воздыхателю, если бы он не пришел к ней только из-за того, что ему нечем было заправить машину.

Очень любопытно посетить «бьюти-салон». Решаюсь зайти.

Большой светлый холл. Все голубое — стены, ковры, платья служащих девушек. Здесь очень много женщин, желающих быть красивыми, но не видно ни одной. Все в отдельных голубых кабинках. Приводят и меня в такую же, сажают перед большим зеркалом в мягкое кресло, оно крутится во всех направлениях. Масса кранов, маленьких душей, непонятных приспособлений — все только для головы. Вымыли. Высушили. Приближается дело к прическе. Входит главный парикмахер с лицом профессора, пожилая дама не в форменном костюме и еще одна девица, кроме моей. Все что-то лопочут, быстро и непонятно, тыкая пальцами в мою голову. Ворошат волосы, каждый по-своему, тащат пряди в разные стороны. Ничего не понимаю. Различаю только одну лестную фразу, произносят ее без конца: «beautiful Russian lady». Главный парикмахер с удовольствием говорит по-русски: «Будет картинка!»

И вот начинается. Что-то подстригают, закручивают, вставляют какие-то палочки, опять моют, опять крутят, надевают сетку, сушат. Работают все, только дама в штатском бездействует, скрестив руки на мощной груди. Неслышно появляется маникюрша, устраивается на низенькой скамеечке, не говоря ни

слова делает маникюр.

Волосы высушены, сетка снимается под восторженные восклицания трудившихся. Да-а, эффектное зрелище. У меня ощущение, что я надела парик и должна выйти на сцену в экстравагантной роли.

Затем ведут в другое помещение. Освещают особым светом. Рассматривают кожу в лупу и без лупы. Чем-то мажут, красят щеки, рисуют губы («под роковых»), пудрят. Вручают пакет специальных приспособлений — только для моей кожи! На моих глазах готовят пудру из разных цветов и сортов — пригодную только мне! Плачу бешеные деньги и ухожу. Моя маленькая дочь Аня встречает меня слезами: «Мама, это не ты!»

Не задумываясь, все сдираю, смываю — и успокаиваюсь.

2

Между двух рядов высоких домов — длинная, узкая щель. Может быть, она и не очень узка, но кажется такой из-за нечистой серости этих домов, из-за нечистых запахов, которые носятся здесь.

Это задний двор этого города, с его мусором, сточными канавами и помойками. Фасад его там, где стоят очаровательные домики в зелени и в цветах, где широки просторные улицы — вымытые и выглаженные, там, где забываешь, что существует слово «грязь».

Длинная серая щель носит название «Main street» — «Главная улица». Вначале, при слабом знании английского языка, когда ухо еще не привыкло к тонкостям произношения гласных, я думала, что она называется «Man street» — «Мужская улица», и это название казалось мне более подходящим. Улица для мужчин. Здесь ничего не приукрашено. Нет накрахмаленных кружевных воротничков, выхоленных рук, невинных улыбок и наивных глаз.

Вся улица испещрена театрами-бурлеск. Огромные витрины у входных дверей. Фотографии женщин в соблазнительных позах. Бурлески переполнены мужчинами. Главным образом это солдаты. Они приезжают из лагерей в отпуск на один день. Животным ревом реагируют они на происходящее на сцене. Чуть не вываливаются из лож, распаленные обнаженными, утомленными, жалкими женскими телами, демонстрирующими свою наготу по три сеанса в вечер. С профессиональной «голливудской» улыбкой, без тени ее в усталых глазах, они постепенно сбрасывают части своей одежды под аккомпанемент

пьяных возгласов, в атмосфере, пропитанной запахом дешевой пудры, дешевого табака и пота возбужденных тел. Проходы раздевающихся девиц по широкому барьеру оркестра, глубоко, полукругом уходящего в зал, — как бы прослойки между номерами программы. Номера соответствующие. Гвоздь программы — немолодая, плотная, коротконогая дама. На ней лифчик с двумя длинными кистями на остриях и трусики с такими же кистями, в виде двух хвостиков, сзади. Под звуки плавного вальса тренированные мышцы ее груди начинают вращать висящие кисти, сперва в одну сторону, потом в другую и, наконец, навстречу друг другу. Ритм музыки меняется, движение кистей все быстрее и быстрее. Восторженные вопли и свист, как на футбольном поле. Кстати, это вполне добропорядочная семейная дама. У нее трое детей. Очень приличного вида пожилой муж привозит и увозит ее на машине. Во время выступления не спускает с нее глаз из-за кулис.

Или такой «изысканный» номер: десять девиц приглашают на сцену десять мужчин. Выстраиваются в два ряда. Оркестр играет «джиттербаг», пары танцуют. Во время танца дама должна раздеть своего кавалера. Кто успевает первый — получает приз.

Театр-бурлеск сменяется кинематографом, где происходит то же самое, только на экране. Много дешевых баров, кафе — прокуренных, грязных, с плохо вымытой посудой. Здесь можно не следить за гигиеной, никто не придерется, никто не обратит внимания на грязный стакан.

Main street — Главная улица — единственная, где можно встретить откровенных проституток. Они ходят в одиночку и группами, молодые и старые. Собираются у театральных дверей, ждут окончания зрелищ, которые приведут к ним клиентов.

Вот трое мужчин тащат совсем еще молоденькую девушку. У нее спустился чулок, на плече надорван рукав... Она сопротивляется, ложится на землю, — так выражают свой протест маленькие капризные дети. Она кричит, в отчаянии заливаясь слезами. С равнодушным смешком ее подталкивает и увещевает подруга. Она, вероятно, уже забыла свой первый выход на улицу или не хочет его вспоминать.

На улице почти совсем темно. Фонари горят слабо, их немного. Уже поздно. Улица пустеет. Пустеют кафе и бары.

В маленьком, неудобном и неопрятном кафе, освещенном единственной тусклой и какой-то желтой лампочкой, на высоком табурете у стойки сидит женщина. Других посетителей нет. Кафе скоро закроется. Она сидит и пьет кофе. Лица не видно. Голова опущена, лоб закрыт до самых бровей соломенно-желтыми волосами. На них примостилась маленькая помятая шляпка с

голубым цветком и с красной дрожащей ягодкой. Сосредоточенно и внимательно она пьет кофе. Пустой, безо всего. Плечи опущены. Сидит сгорбленная, усталая, распутившаяся — никто не смотрит на нее. Пьет кофе медленно. Не торопясь черпает его ложечкой из чашки. Она наслаждается. Во всем мире сейчас для нее ничего не существует, кроме этого кофе...

Почувствовав на себе взгляд, поднимает голову. Старое отекавшее лицо. Тусклые, выцветшие глаза. Влажный от только что проглоченного кофе, со следами стершейся помады рот. Глупо и страшно обрамляют это лицо соломенно-желтые волосы.

Она поймала на себе взгляд. Взгляд мужчины! Мигом преображается. Небрежно отодвигает чашку с кофе, секунду назад он был дороже всего. Губы расплываются в улыбке, тусклые глаза пытаются изобразить кокетливый взгляд. Удивительно невольно всему своему виду, лихо заламывает шляпку, взбивает желтые локоны. Она отвыкла от клиентов. Даже здесь, где спрос так велик, а вкусы нетребовательны, она не привлекает взоров. И вдруг взгляд мужчины остановился на ней. Она смотрит в ответ с недоверием, но и с робкой надеждой. С привычной когда-то развязностью соскакивает с табурета. Слегка покачиваясь, медленно движется к двери. Улыбается приоткрытым ртом, не спуская глаз с мужчины, обратившего на нее внимание. Неужели удача? Ей не приходит в голову, что смотреть на нее можно не только как на товар. Она напряженно ждет. Постояла немного, не отрывая просящих глаз... выходит за дверь. Медленно покачиваясь, идет она и все оборачивается. Улыбка не сходит с губ. Время от времени поднимает она одну ногу, как дети, скачущие на одной ножке, и небольшим прыжком прерывает унылую походку. Старая, некрасивая, усталая.

Главная улица уже совсем пуста. И долго еще видна она под бледным светом притушенных фонарей на длинной пустой улице — оборачивается, улыбается, подпрыгивает...

В начале сороковых годов культурная связь с Америкой только-только начала устанавливаться. Когда, пролетев по чкаловской трассе, наш самолет приземлился в маленьком канадском городке Фербенкс, некоторые любопытные, пришедшие на нас посмотреть, искренне думали, что мы все в медвежьих шкурах, мужчины заросли бородами (тогда это было совсем не модно), не можем путешествовать без самоваров, и прочую чепуху. Они были дружелюбны и приветливы, угощали жевательной резинкой, сигаретами и с удовольствием хватали предлагаемые папиросы, суя их в рот обратной стороной. Представление о советских людях, особенно в отдаленных местах, было весьма сумбурное.

Но даже и в Голливуде, где тогда были сосредоточены сливки культурного человечества чуть ли не со всего мира, иногда бывали курьезные случаи.

Со мной пожелал встретиться один из бесчисленных там женских клубов. Его членами состояли русские женщины, покинувшие Россию еще до семнадцатого года. Конечно, они не помолодели за это время, и язык подзабыли, и относились к Советскому Союзу очень недоверчиво, хотя и не без любопытства.

В дверях меня любезно встретила очень толстая, сильно пожилая женщина словами:

— А вы, оказывается, стройная! Я думала, все современные актрисы в России еще потолще меня.

Их было человек сорок.

Я не знаю, к какому сословию они принадлежали на родине, из каких городов приехали. Больше всего они напоминали большой курятник. Этому способствовало порядочное количество перышек и каких-то метелочек, торчащих из шляп или воткнутых прямо в прически.

Они взволнованно кудахтали, хихикали, не спуская с меня откровенно любопытных глаз.

Помещение очень маленькое, две проходные комнатки и совсем скромный не то холл, не то зал. Очевидно, это частный дом одной из этих любознательных старушек. В большинстве своем толстенские, но, в отличие от своих американских ровесниц, в темных одеждах. Ни голубых, ни розовых тонов я здесь не заметила. Правда, все они сверкали драгоценностями — настоящими или фальшивыми, не берусь судить.

Меня усадили в кресло в середине зальчика, сами расположились вокруг в несколько рядов. Начались «каверзные» вопросы:

— Это правда, что вся дореволюционная литература в Советском Союзе сожжена и уничтожена?

Не стоит останавливаться на том, что я им на это ответила.

— А американских писателей вы знаете? Кого вы читали?

Когда неожиданно задают прямой вопрос, бывает, что теряешься и вдруг не можешь вспомнить в данную секунду даже самое знакомое. Вот так и здесь. Я испугалась, но все-таки назвала Хемингуэя, Колдуэлла, Фицджеральда, Синклера, О. Генри...

Дружный хохот, с каким-то повизгиванием от удовольствия, грянул мне в ответ. Я ничего не могла понять.

Они задыхались, давились от смеха, среди которого раздавались отдельные возгласы: «Ну и ловко вы...», «Вот так выдумщица!...», «Нет, нет, нет, нас не проведешь!...» «А о Марке

Твене, о Джеке Лондоне ничего не слышали?» — последовал угрожающий вопрос.

Я сказала, что этих авторов у нас знает каждый школьник, что это настолько всемирные имена, что мне и в голову не пришло останавливаться на них.

Веселый смех разрядил обстановку. Они потащили меня в маленькие комнаты, где были приготовлены произведения их кондитерского искусства. Оказалось, что старушки не прочь приложиться к рюмочке. И здесь, в непринужденной, почти дружеской атмосфере, завязалась живая беседа. Они что-то рассказывали сами, с интересом слушали меня и в конце концов восплали ко мне пламенной любовью, жали руки, целовали, совали сувениры, осыпали комплиментами. Прощаясь, я в самом буквальном смысле с трудом вырвалась из цепких объятий четырех десятков крепких старушек, совсем как Мёбиус, герой пьесы Газенклевера «Делец». В связи с ними я вспомнила этот спектакль, шедший в конце двадцатых годов на сцене Академической драмы (бывшего Александрийского, ныне Театра им. Пушкина). Я училась на первом курсе театральной школы и выходила в массовке, в числе тоже примерно сорока учениц. Мы изображали обезумевших от страсти пожилых поклонниц героя, который спасался от них, оставляя в жадных руках части одежды.

На обратном пути я думала об этих старушках, и мне почему-то было жалко их. Я так и не узнала, кто они, откуда произошли?

Так же непонятно, почему вызывал у меня чувство жалости весьма преуспевающий русский лавочник. Он жил на чужбине более тридцати лет, торговал селедками, кислой капустой, солеными огурцами, гречневой крупой. Я часто заглядывала к нему за драгоценным черным хлебом. Он иногда каким-то чудом раздобывал его.

Он почему-то проникся ко мне горячей симпатией, всегда старался порадовать какой-нибудь гастрономической редкостью, сугубо русского вкуса. В кожаном колпачке на седых завиточках, в кожаных нарукавниках на не слишком чистом халате, он предлагал мне стул, сам присаживался на высокий табурет за прилавком и всячески старался задержать всевозможными вопросами. Они начинались с постоянной фразы: «А как у вас в Советском Союзе?..» Его интересовали самые разнообразные вещи: «А как у вас в Советском Союзе, еще пекут калачи?», «Правда, что каждый должен обязательно носить что-нибудь красное на costume?», «Опера у вас есть, и балет?», «Говорят, не разрешается держать собак и кошек, а пойманных в мышеловки мышей непременно сдавать в лабораторию?» «А на Невском есть продуктовые магазины?»

Он слушал открыв рот ответы на все свои нелепые вопросы, покачивал головой, вздыхал, и застаревшая тоска, сквозила в его маленьких припухших глазках.

Он увидел меня по телевидению и пришел с визитом. Неожиданно. Я его сперва и не узнала. В темно-синем костюме, с большим букетом цветов. Кожаный колпачок не прикрывал головы. Обнаружилась розовая лысина, обрамленная реденькими пегими кудряшками. Он минут десять молча посидел на стуле. Вздыхал, утирал платком лицо и лысину. Потом сказал: «Вы вчера замечательно выглядывали с экрана». Очевидно, он хотел сказать «выглядели». Он давно уже привык думать по-английски и русские слова переводил в уме с английского языка.

Дверь за ним захлопнулась, но шаги слышались не сразу. Он еще постоял и повздыхал у закрытых дверей.

Меня посетили два театральных агента из Нью-Йорка. Предложили сыграть на Бродвее Лизу в «Дворянском гнезде». Очень загорелась. И плохое знание языка не остановило. Решила — потренируюсь и произнесу все, как надо. Оставили инсценировку, условились, что заедут через три дня. С увлечением принялась читать.

Пролог происходит в наши дни. Имение Калитиных занято фашистами. Лиза за высокими стенами монастыря ничего не знает, что делается в мире. Решает провести свой старый дом — батюшки, а там немцы! У хитроумной старушки (она, естественно, в монастыре здорово состарилась, если дожила до второй мировой войны) рождается коварный план — поступает к врагам домработницей. Сидя в кухне у русской печки, вспоминает молодость.

Затем идет представление: Лиза, конечно, молода и красива. Все действие состоит из ее сцен с Лаврецким, в качестве острой приправы прибавлен приезд его жены.

В эпилоге бойкая старушка Лиза отравляет всех немцев и с чувством большого удовлетворения возвращается в святую обитель.

Через три дня я никого не ждала, уверенная, что это розыгрыш. Но они явились. С цветами, улыбаясь во все зубы.

— Представляете, какая будет сенсация? Впервые на Бродвее советская актриса в русском классическом спектакле. Огромными буквами — Елена Юнгер! — весь трепещет, сказал один из них.

— Извините, — ответила я, — я слишком уважаю русскую классику и не могу себе позволить участвовать в таком произведении.

Немая сцена, как в «Ревизоре». Потом возглас отчаяния:

— Это же Бродвей! Вы могли бы стать миллионершей!

На углу бульвара Лас-Филес — «драйв-инн». Это значит, что здесь можно позавтракать не выходя из машины. Хорошенькие, как всегда улыбающиеся девушки на специальных подносах-столиках подадут вам все, что захотите. Но можно зайти и внутрь, посидеть в кафе у окна. Аня очень любит «хэббургеры» — заходим.

Наблюдаю за подъезжающими машинами. Из открытого автомобиля дорогой марки, но не очень сверкающего и ухоженного выходит женщина в больших темных очках. Широким шагом, немного сутулясь, входит, садится за соседним столиком. Свободный свитер, брюки. На босых ногах стоптанные шлепанцы. Один еле держится на кончиках пальцев, она пошевеливает ими, заложив ногу на ногу. Лицо прячется под огромными очками, под небрежно свисающими прядями русых волос до плеч. Заказывает сухой martini, выпивает почти залпом. Заказывает еще. Почему-то не могу оторвать глаз от этой женщины. Понять не могу, что же в ней так притягивает.

Усталым движением откидывает волосы, снимает очки, протирает их бумажной салфеточкой. Затуманенный взгляд равнодушно обводит окружающих. Вот так так! Грета Гарбо!

Давно не появлялась она на экране.

Раннее свежее утро, но день обещает быть очень жарким. Как всегда разнообразно одетые женщины не спеша бродят по залам универмага. Это один из лучших в городе. В отделе женского белья на стуле у прилавка сидит молодая женщина. Розовые, покрытые лаком ногти высовываются из элегантных босоножек. Соболя шубка накинута на плечи, из-под нее торчит прозрачный нейлоновый халатик. Нейлон еще только входит в моду — он очень дорог. Покупательница выбирает лифчики. Продавщицы подобострастно суетятся вокруг нее. Очаровательное белорозовое личико, пушистая волна светлых волос. Идет живое обсуждение невесомого, почти невидимого товара, который новыми грудями вываливается из коробок на прилавок. Продавщицы перемежают обсуждение длинными «о-о-о!» с придыханиями. Розовое, нежное личико, чисто вымытое, без всякой подмазки (большая редкость здесь), приветливо улыбается, перебирая тонкими пальчиками воздушные предметы.

Это Ингрид Бергман. Она в зените своей славы.

Восемь часов вечера. Многолюдный званый обед. Напротив меня — сама Бетт Дэвис. В черном. Ни один волосок не

выбивается из-под черной мягкой повязки, надетой по примеру косынок, что носили сестры милосердия в первую мировую войну. Смотрит громадными светлыми глазами, односложно отвечает, вежливо улыбаясь. Отказывается от всех блюд, предлагаемых официантами. Съедает половину груши, очищенной соседом. Ничего не пьет. Ровно в половине девятого встает, извиняется, благодарит хозяйку, любезно кивает всем присутствующим и исчезает.

Завтра съемка. В студии — в шесть утра. В девять тридцать она должна быть в постели.

Great Betty — Великая Бетти. Звезды восходят и заходят, расцветают, вянут. Одни быстро, другие задерживаются. Великой Бетти это не касается. Она единственная, будет всегда, сколько бы ни прожила на свете.

Похоже на операционную — так все стерильно. И нечто, на чем она лежит, тоже похоже на операционный стол.

Над ней спускающееся с потолка большое круглое зеркало на шарнирах. Но может принять любое положение — горизонтальное или вертикальное, в зависимости от положения лежащей актрисы. Ложе тоже вращается в любом направлении. Глаза ее закрыты, мышцы расслаблены. Привычное «Здравствуйте, мисс Дэвис!» застревает на губах. Ей сейчас ни до чего внешнего. Не тратьте ни одного лишнего усилия. В белых накрахмаленных халатах над ней священнодействуют гримеры и парикмахеры. Сегодня на съемке ей должно быть шестнадцать лет. Картина «Миссис Skeфингтон» — судьба избалованной женщины с юных лет до глубокой старости.

Загримированная, одетая, она переходит в свою передвижную уборную — фургончик из трех маленьких комнат с душем. По огромной территории студии ее доставляют к нужному павильону. У нее есть еще немного времени, чтобы вытянуться в шезлонге или выпить кофе. Ее пригласят, когда абсолютно все будет подготовлено. Сейчас на площадке ее дублерша. Они работают вместе много лет. Похожие очертания фигуры, примерно такая же структура лица. Только глаза, разумеется, даже отдаленно неповторимы. На дублерше точно такой же костюм — из более дешевой материи. Хотя, если оператор потребует, и на ней засверкает парча высшего качества. Ставится свет. Последний проход с пылесосом уборщика, и под беспощадным светом прожекторов появляется мисс Дэвис.

Да, когда через два-три месяца ее увидят на экране, никто не усомнится, что ей шестнадцать лет.

Но когда дело дойдет до финальных эпизодов... нет слов выразить восхищение и уважение... Когда дело дойдет до

финальных эпизодов, она покрывает свое лицо с трудом отдираемым, особым клеем, который соберет всю кожу в мелкие и глубокие естественные морщины. Есть женщины, что смолоду боятся улыбаться, чтобы не нажить морщин. А тут немолодое уже, такое хрупкое и нежное лицо подвергать столь страшным экзекуциям! Это — актриса! И заслужила она и свисающие зеркала, и передвижные уборные тем более, что даже в Голливуде они далеко не у всех знаменитостей.

«ЧЕРНЫЙ ФЛАМИНГО»

Четырех-пятиэтажные дома стоят здесь тесными рядами. Ни зелени, ни цветов. Ярко освещены открытые настежь окна. Звучит смех, громкие певучие голоса. Плотны населены небольшие комнаты за освещенными открытыми окнами. Некоторые многочисленные семьи пользуются квартирой по очереди — одни занимают ее днем, другие ночью.

С грохотом проносятся переполненные трамваи. Здесь пользуются ими широко.

У распахнутых дверей в небольшие закулочные, пропахшие постным маслом, или просто под фонарями и на перекрестках останавливаются люди, громко беседуют. Мужчины почти все высокого роста, широкоплечие и узкобедрые, в длинных пиджаках, в широких брюках, трубочкой сужающихся к щиколотке. Это излюбленный костюм франтоватого негра. Женщины в разнообразных пестрых платьях, в туфлях на босу ногу или в коричневых чулках. При моде на светлые чулки, только негритянки носят темные, и продаются они лишь в негритянском районе. У многих, как у мужчин, так и у женщин, каким-то особым парикмахерским способом тщательно выпрямлены упорно выющиеся волосы. Гладкие прически — тоже особый шик.

На улице шумно, многолюдно. На черных лицах сверкают зубы, блестят глаза. Переговариваются через улицу, болтают, свешиваясь из окон. Непринужденная атмосфера напоминает огромную дружелюбную коммунальную квартиру.

Какой одаренный, жизнерадостный народ!

Сколько замечательных музыкантов, певцов, танцоров, артистов вышло из этих густонаселенных домов. Кто не знает Поля Робсона? А Марион Андерсон? Когда она поет в знаменитой «Голливудской чаше» (концертное помещение, построенное в естественном углублении горного котлована, обладает необыкновенной природной акустикой, вмещает несколько тысяч зрителей), достать билеты невозможно, даже у перекупщиков.

А Дюк Эллингтон со своим всемирно известным джазом? Когда в фешенебельном нью-йоркском кабаре «Ураган» разверзается потолок и на фоне мягкого золотого задника за белым роялем спускается сам Эллингтон — публика неистовствует.

А когда в роскошном, моднейшем негритянском кафе «Занзибар», где яблоку упасть негде, выходит на эстраду Элла Фицджеральд, высокая, полная, в закрытом белом платье, как

восторженно встречает ее зритель. Она уже достигла славы и все-таки своим низким, особенным голосом поет трогательную, смешную детскую песенку, с которой началась ее карьера. Это имеет оглушительный успех.

А что выделяет за роялем Морис Рокко! Играет стоя, приплясывает. Ритм бешеный. В движении все — тело, лицо, даже уши. Прищуренными глазами уставляется в одну точку, не отрывая от нее взгляда, постепенно, стаккато, открывает глаза до полной широты, подмигивает и так же закрывает. Руки в неимоверном ритме бьют по клавишам, он вытягивается во весь рост, приседает на корточки, только что не кувыркается.

А ослепительные танцоры-эксцентрики братья Берри!

В одном из темных переулков негритянского района Лос-Анджелеса — одноэтажное здание, похожее на сарай. Маленькая электрическая лампочка над входом освещает надпись черной краской на белой стене: «Черный фламинго» — открыто с часу ночи.

Небольшое помещение. Гладкие светлые стены. Дощатый некрашенный пол. На столиках дешевые скатерти. Скамейки, стулья. Никаких украшений. В углу маленькая низкая эстрада, на ней пианино.

Открыто с часу ночи, но это не увеселительное заведение. Спиртных напитков здесь не бывает. Нет здесь и карточки с обширным меню, с разнообразным выбором яств. Тут подается одно-единственное блюдо, любимое неграми. Это особым способом зажаренная курица в крупных сухарях, с жареной картошкой, нарезанной длинными, тонкими полосками.

Сюда приходят усталые и голодные негры после работы. Здесь они могут сытно и вкусно поесть, спокойно отдохнуть в дружеской обстановке. С аппетитом принимают они за еду, завязываются разговоры, споры. Кто-то вдруг садится за рояль, кто-то начинает петь, танцевать. Все оживляются, заражая друг друга своим легким, открытым темпераментом. Разгорается веселье, свободное, не для зрителей, а для себя.

Хозяин «Черного фламинго» встречает нас у дверей.

— Сегодня у меня счастливый день, — говорит он, — меня приняли в коммунистическую партию и гости из Советского Союза посетили мой «Фламинго»! Я сам буду петь для вас.

Высокий, стройный, ловко вскакивает он на эстраду, берет одной рукой за никелированную ножку микрофона и начинает петь. Чарует мягкий тембр его голоса, чарует весь его облик. Светло-русые волосы спадают на высокий лоб, смугловатый тон кожи, как бы покрытый легким загаром, удлиненные серые печальные глаза. Только легкая выпуклость губ, резковатый

рисунок крупных ноздрей отличает его от европейского типа. Но заметно это, если внимательно взглядеться. Держится просто. Очень изящен.

Длинные смуглые пальцы обвивают ножку микрофона, в печальной мелодии песни звучит голос.

Тихо. Негры перестали разговаривать, перестали жевать. Молча сидят, поблескивая глазами. Они слушают его. Они любят его.

До двадцати лет он рос в богатой буржуазной семье. Его воспитывали как родного сына. Баловали, ухаживали. Он любил своих родителей. Их дом был его домом. Он учился в колледже. Скакал верхом на отличных английских лошадях. Играл в теннис на собственном элегантном корте. Веселый голос его раздавался по всему дому. Он был молод, беззаботен.

Встретил прелестную девушку. Из хорошей семьи. Полюбил ее. Решил жениться на ней.

И вот тут-то его родители и сказали ему, что он не родной их сын, что он негр. Не может негр жениться на белой девушке.

Они сказали ему. Не подумали, как это потрясет его. Тогда они пожалели его, стали утешать. Ведь он по-прежнему будет жить дома, по-прежнему можно все скрывать. Никто и не подозревает настоящего его происхождения.

Нет, он этого не захотел. Раз он негр, он и будет с ними. Ему не нужна чужая роскошь. Не нужна чужая белая девушка, которая не пойдет за него замуж только потому, что ему дали жизнь чернокожие люди.

И он ушел. Оставил дом, беззаботную жизнь, свои привычки. Оставил белую девушку, которую любил.

У него хороший голос. Он стал петь в кабачках и в ночных клубах. Имел успех. Ему платили деньги. И вот он открыл свой «Черный фламинго», куда после часа ночи приходят усталые голодные негры. «Фламинго» не приносит ему дохода. Пища здесь так же дешева, как хороша и питательна. Он продолжает работать — выступает на эстраде и в кабаре. Каждый вечер, после часа, он приходит сюда и проводит остаток ночи со своими черными братьями.

Он не женился.

ДЕННИ И ЧЕРРИ

Дорога поднимается в гору. Узкая дорога. Встречные машины не разъедутся на ней. Это не фешенебельный район, о нет, отнюдь нет. На склоне горы, среди деревьев и дикого кустарника, прилепился домик. Войти в него можно по узенькому мостику через овраг к маленькой двери, расположенной на уровне второго этажа. За дверью, уже внутри домика, этот мостик как бы продолжается. Здесь он перекинут через комнату, плотно прижатый к стене, образуя нечто вроде внутреннего балкончика с деревянными перилами. В конце балкончика, напротив входной двери, — другая дверь, в крошечную спальню. Лестница вниз — в комнату.

Комната просторная. Высокий потолок, большое окно во всю стену. Небольшая тахта. Полка с книгами. Два стола, уставленные баночками со скипидаром, с лаками, заваленные тюбиками с красками. Два больших мольберта. И всюду написанные маслом этюды. Большие, маленькие. Законченные и начатые.

За мольбертом, с палитрой в руке, молодая женщина в грубых холщовых брюках, вымазанных краской. Волосы зачесаны кверху, наскоро повязаны пестрой тряпчочкой, из-под нее выбиваются мелкие русые кудельки. На запястье самодельный медный браслет с узором. На пальце с таким же узором оловянное кольцо. Что-то очень трогательное и нежное в ней. Мягкая, женственная, несмотря на широкий, почти мужской взмах руки, когда она работает кистью. Она пишет с увлечением, торопливо и жадно. Боится потерять лишнюю минуту.

Солнце склоняется к западу. С сожалением вытирает она кисти, бросает последний взгляд на свою работу. В маленькой кухне, прилегающей к комнате, принимается застряпню. Все спорится в проворных руках. Консервы открыты, сельдерей вымыт и вычищен, салат приготовлен. На некрашенный деревянный стол, без скатерти, ставятся два прибора. Посуда глиняная, купленная у кустарей на мексиканском базаре. Перед одним прибором она кладет кусочек медовой коврижки, завернутый в бумажную салфеточку. Это маленький сюрприз.

Наверху хлопает дверь. По мостику над комнатой раздаются торопливые шаги. Кто-то, перескакивая через три ступеньки, сбегает с лестницы. На пороге — маленький человек с огромной шапкой черных кудрей. Задорные карие глаза, смеющийся рот. Порывистый, стремительный.

У нее был жених. Богатый. Она собиралась выйти за него замуж. Жила бы в красивом доме, на широкой, красивой улице. У

нее было бы много платьев. Не пришлось бы к парадному случаю шить себе вечерний туалет из старой мексиканской занавески. (Кстати, в нем она была лучше всех.)

После того как она встретила маленького кудрявого человека, свадьба не состоялась. Он тоже художник, как и она. Они поселились вместе в этом маленьком домике, прилепившемся к горе. Больше всего на свете они любят друг друга и живопись. Хотели бы заниматься ею от зари до зари. Но надо есть и пить. Для этого нужны деньги. Аукционы по продаже картин бывают только раз в год, да и то могут купить, а могут и не купить их работы.

И вот каждый из них, по очереди, на два-три месяца поступает на службу. Никакая работа не смущает их. Они были уже шоферами такси, продавцами, библиотекарями, чернорабочими, разрисовывали рождественские и новогодние открытки. У них все распределено. Один занимается живописью и несет всю работу по дому. Другой зарабатывает деньги. Один — счастливек: может писать все утро и весь день. Другой — стоит за прилавком или носится по городу, развозит на такси вечно спешащих пассажиров.

Оставшийся дома чувствует себя немного виноватым. Ведь тот, другой, на долгие часы лишен самого дорогого. И первый всячески старается скрасить очередную судьбу другого. Маленькими знаками внимания и большой нежностью. Крошечные сюрпризы за обеденным столом, дешевые пустячки...

Первый, отправляя второго на службу, незаметно заворачивает в пакетик с завтраком только что распустившуюся розу или нарисованную смешную картинку. И ничего сентиментального в этом нет. Так хочется напомнить о своей нежности, вызвать улыбку, насмешить в скучной конторе или в лавке.

И второй вовсе не возвращается домой с видом жертвы — тебе-то, мол, хорошо, а каково мне целый день развешивать крупу. Замечая во дворе сохнувшее белье, ему тоже становится немного неловко. Не так-то легко целый день стоять за мольбертом, а потом чистить, мыть, варить и стирать.

И они встречаются — оба веселые, оба довольные. Втайне восхищаются друг другом, но не очень выражают это внешне.

Интересно наблюдать за ними, когда они показывают свои работы. Каждый особенно волнуется за другого. Какое чудесное выражение лица появляется у каждого из них, когда хвалят другого. Как будто безразличное, даже немного высокомерное, но такая гордость светится в глазах.

Она увлекается пейзажами. У нее большие полотна,

написанные крупными, широкими мазками, в мягких тонах.

Он предпочитает маленькие этюды на отвлеченные темы. Динамичные, яркие.

У нее в кожаной сумке через плечо всегда при себе блокнот. Зарисовывает все, что привлекает внимание. Отсюда черпает потом темы для своих картин.

Он питается только собственной фантазией.

Два раза в неделю, по вечерам, у них собираются друзья-художники. В складчину они на полтора часа приглашают натурщицу, работают над портретом и делают быстрые пятиминутные наброски.

Она установившийся художник — свой почерк, свой стиль.

Он мечется в поисках. Пробует разные приемы, разную технику.

Оба талантливы, но каждый считает, что другой лучше.

Ее зовут Денни, а его Черри.

Они очень любят друг друга.

ДЖИММИ ХАУ

В Голливуд он попал мальчишкой. Очень любил кино. Околачивался возле студий, торчал на натурных съемках, рад был всем услужить, со всех ног бежал по любому поручению. Его взяли уборщиком на одну крупную студию. Никакой труд его не смущал, лишь бы быть на съемочной площадке. Счастливый и старательный, чистил, подметал, выносил сор.

Однажды на съемке у Сесилия де Милля не оказалось одного из ассистентов, в чьи обязанности входит перед началом действия хлопнуть доской с указанием номера дубля. Случайно попался под руку Джимми — послали его. Дело несложное, каждый справится. Справился и Джимми. Но из-за очень маленького роста в кадр попала не только рука, но и вся его голова, — торчала над доской. Просматривая отснятый материал, Сесиль де Милль обратил внимание на Джимми:

— Кто этот мальчик с таким смешным лицом? Я хочу, чтобы он всегда работал со мной. Его рожица меня развлекает.

Джимми жил очень далеко от студии. Автобусы ходили до определенного часа. Съемки заканчивались поздней ночью. Он получал всего десять долларов в неделю, гостиницы не по карману — ночевать негде.

К счастью, неперемный объект картин де Милля — роскошные спальни. Широкие мягкие кровати в кружевных простынях с атласными пуховиками, в которых снимались и сама Глория Свенсон, и другие звезды, выручали Джимми. После съемки он забирался в благоухающую духами постель и безмятежно спал до утра.

Фотография его всегда интересовала. Он с увлечением снимал девушек из массовок. Если снимок удавался, они платили ему пятьдесят центов.

Однажды он попросил одну довольно видную звезду разрешить сделать ее портрет. Она согласилась. Светлая блондинка с бледными голубыми глазами. На экране они всегда выходили белесыми. На фотографии Джимми глаза получились темные и выразительные. Она пришла в восторг, заявила, что это самое лучшее ее изображение за всю жизнь. Спросила, не может ли он так же снять ее на экране. Джимми растерялся и от смущения ответил — отчего же, конечно сможет.

Прошло несколько месяцев. И вдруг его вызывают в администрацию студии и сообщают, что он будет снимать картину. Он теперь оператор!

Бедняга пришел в ужас:

— Как! Я не умею этого делать!

— Ничего, сумеешь, бери камеру и снимай. Звезда требует только тебя. Иначе отказывается сниматься. Ты единственный сумел сделать ей темные глаза.

Как это получилось, Джимми и сам не знал. Он пошел в тот павильон, где снимал ее портрет, внимательно осмотрел его. Павильон был затянут черным бархатом. Не в этом ли разгадка?

Черным бархатом он плотно завесил свою камеру, провертел только дырочку для объектива. Дрожа от страха, начал снимать. Если ему по ходу дела надо было что-то сказать актрисе, он приподнимал бархат и снизу высовывал голову.

С этого началась его слава. По студии разнесся слух, что появился какой-то маленький человечек с восточным лицом. Он прячется за черным покрывалом и чуть ли не колдует — светлые глаза превращает в темные. Все голубоглазые звезды стали заигрывать с ним.

Свой первый самостоятельный фильм он снял в двадцать два года. Всего у него на счету более ста картин.

Однажды, став уже достаточно известным, он снимал картину с Мирной Лоу. В одной сцене — после бессонной ночи: помогала врачу принимать близнецов — она смотрится в зеркало и говорит: «Как я устала, измучилась, как я ужасно выгляжу...» Джимми терпеливо выслушал текст и сказал: «Вы выглядите прекрасно. Ваши слова звучат ерундой». Звезда, как всегда, красива, нарядна.

Лоу согласилась с ним, и они решили приблизиться к истине — смыли грим, стерли губную помаду, растрепали волосы.

Через день хозяева студии смотрели отснятый материал. Вызвали Джимми.

— Ты с ума сошел, — сказали они. — Где были твои глаза? Почему ты так ужасно снял Мирну Лоу?

Джимми объяснил, что иначе по сценарию получалась полная бессмыслица.

— Не твое дело, — сказали ему. — Наши звезды должны быть всегда прекрасны, а ты обязан снимать их еще лучше и красивее.

После этого печального случая ему стали поручать съемки подсобных планов — тексты писем, которые читает зритель, вывески, детали вещей. Он пошел выяснить, в чем дело.

— А это наказание тебе, — сказали ему, — за то, что ты изуродовал нашу звезду.

Джимми ушел с этой студии, с тем чтобы никогда туда не возвращаться.

Джимми Хай (Howe James Wong) — один из самых видных

операторов Голливуда в тридцатые — сороковые годы. Он диктует, к нему прислушиваются, с ним считаются. Но жениться на белой он не имеет права и живет со своей очаровательной женой в незаконном браке.

Советским зрителям он был знаком по картинам «Северная звезда» и «Контратака».

НЕКТО НА БУКВУ «Ч»

«Макамбо». Клуб кинематографистов. Прием в честь советских гостей. Кого тут только нет! Льюис Майлстон — знаменитый фильм «Люди и мыши» по Стейнбеку. Очаровательный Жан Ренуар, несмотря на довольно почтенный возраст, безошибочно узнается по младенческому портрету, написанному его отцом. И Орсон Уэллс, и Джоан Крауфорд, Джеймс Стюарт, Эдвард Дж. Робинсон... И Вероника Лейн, и Оливия де Хевиленд... И Хемфри Боггарт, и Генри Фонда... И прославившийся в бесконечных сериях исполнитель роли Тарзана...

А сколько знаменитостей из всей Европы, загнанных Гитлером в Америку...

Мы, советские, вызываем интерес и симпатию. Наше триумфальное движение к победе началось. Подходят, пожимают руки, расспрашивают. Беседуем с довольно известной, очень красивой актрисой.

— Вы не знаете, кто этот маленький смешной человек? — спрашивает она.

Смотрю и не верю своим глазам:

— Это же Фейхтвангер!

— Кто-кто?

— Фейхтвангер! — Спыхватываясь, вспоминаю, что нужно произносить точно, как они произносят, чтобы было понятно. Говорю на разные лады:

— Фейхтвангер... Файхтвангер... Фейхтвэнджер... Известный писатель Лион Фейхтвангер!

— Никогда не слыхала, — говорит она, — какой смешной, — и переходит к другой компании.

В зале душно. Народ все прибывает. Гудят голоса. Вылетают пробки. Звенят стаканы.

И вдруг движение в толпе, образовался проход — по нему стремительная пара. Он — небольшого роста, седой, в белом смокинге, она высокая, стройная, в черном. Боже мой! Чаплин!!!

Машина сворачивает с Беверли-бульвара. Роскошный, кажущийся пустынным район — Беверли-Хиллс. Ни одного пешехода на улице. Особняки скрыты зеленью огромных садов и парков, обнесенных высокими оградами. Частная жизнь их обитателей хорошо спрятана от любопытных глаз. Ни в одной телефонной книжке нельзя найти номера их телефонов. Это владения кинозвезд.

В двух-трех местах на широкой дороге, где вихрем несутся машины, вас может остановить человек в потрепанном пиджаке. Он уже издала машет какой-то желтой бумагой, настойчиво привлекая внимание. Не желаете ли приобрести? Это карты с местоположением жилищ кинозвезд. На чем только здесь не зарабатывают!

Еще один поворот, мимо пустыря, запущенного и грязного. Странно видеть среди изящно подстриженных деревьев, выхолощенных цветников — кусок земли, поросший засохшей травой. Валяются битые бутылки, консервные банки, рваные мятые газеты. Он ничей — кто же будет следить за ним?

Машина поднимается вверх, въезжает в открытые чугунные ворота, взбирается на маленькую горку и, наконец, останавливается у большого старого дома. Это дом Чарли Чаплина.

Дверь открывает дворецкий, он же и секретарь, и ближайший помощник. Это высокий, седой, почтенный и почтительный человек в черном смокинге, в серых полосатых брюках.

Маленькая передняя ведет в большую высокую комнату. Слева лестница наверх. Справа киноэкран, скрытый портьерой. Небольшой орган, несколько кресел, диван, стол. Дворецкий помогает раздеться, кладет пальто на стол. Почему-то ни в одном доме в Америке я не видела вешалки для верхней одежды. Шубы, пальто гостей сваливают в кучу на стол, на диван. В случае особого расположения к гостю — на кровать в спальне хозяйки.

В открытых дверях во внутренние комнаты появляется сам хозяин. В сутолоке «Макамбо» я не разглядела его как следует. Вот он какой! Ничего похожего на то, каким мы привыкли его видеть. Ни помятого котелка, ни трости, ни усиков. А где же черные глаза? Голубоглазый! Ясный, светлый, открытый взгляд. И сам — подвижный, легкий, приветливый, молодой. Удивительно молодой.

— А вот моя старушка! — шутит он, представляя свою совсем юную, чудесную свою Уну. На первый взгляд она кажется немного мрачноватой. Длинные, гладкие черные волосы. Неправильное, прелестное лицо. Похожа на какого-то дикого зверька. Но стоит узнать ее поближе — покоряет ее очарование. Вся настоящая, никакого притворства.

Входим в гостиную. Большая уютная комната. Ни показной роскоши, ни парадного холода, ни выставочного зала, какие встречаешь здесь во многих домах. Иногда страшно пепельницу передвинуть, чтобы не нарушить этого пугающего порядка. Здесь нет «обстановки». Мебель разная — старая, удобная. На стенах старинные английские гравюры. Древняя сабля японского

самурая с перламутровой рукояткой. Несколько китайских и английских фарфоровых вещей. У камина низкий круглый столик, открытый рояль. Длинные низкие и высокие полки, набитые книгами. На одной из них, скрытая какой-то деревянной скульптурой, притаилась золотая фигурка «Оскара». Чаплин равнодушен к таким наградам. Даже как-то стесняется их.

Видно, что в этой комнате проводится много времени. И работает Чаплин здесь. Это заметно хотя бы по тому, как, рассказывая отдельные сцены из нового сценария, присаживается к роялю. Он пишет сейчас «Месье Верду» — современный вариант «Синей бороды». Герой — маленький человек — добывает средства на содержание больной жены и сына, соблазняя и убивая богатых женщин. И текст и музыку сочиняет он вместе. Одно вытекает из другого. Привычные движения от рояля к столу, от стола к роялю. Масса необходимых мелочей, все здесь под рукой. Вот он ищет очки. Похлопывает себя по карманам, по бумажкам на столе. Весело хохочет — забыл их на рояле. Переворачивая страницы сценария, любовно их поглаживает, как живое существо.

Рассказывая, так увлекается, что полностью играет целую сцену — месье Верду с проституткой («Единственная порядочная женщина, встретившаяся герою», — говорит он). Играет за себя и за партнершу. Так убедительно, так прекрасно. В этом фильме он впервые появится без грима.

Бесшумно открывается дверь. На пороге дворецкий. Сперва негромко произносит какую-то фразу, а потом докладывает, что обед сервирован.

За столом мое место рядом с хозяином. Не будучи очень опытной в светских обедах, смотрю с некоторым ужасом на огромное количество вилок, вилочек, лежащих у моей тарелки.

Обслуживают не по американскому обычаю — там первой подают хозяйке, — а на европейский манер. Лакей в белой куртке, держа громадное блюдо живописно уложенных сырых овощей, начинает с меня.

Как же быть? На мгновение теряюсь, но тут же беру маленькую вилочку и подцепляю маслину. Что я сделала! Все остальные гости берут овощи руками.

Хозяин, казалось, ничего не заметил: он очень оживлен, все время что-то рассказывает, смеется сам и смешит других. Когда же наконец ему последнему подносят блюдо, он, не прерывая рассказа, не глядя, берет ту же самую вилочку и кладет себе на тарелку маслину...

А сколько в нем милой, детской непосредственности! Привезли в подарок самый лучший грузинский коньяк. Сейчас же

он потребовал откупорить его, подать специальные дегустационные бокалы — широкие внизу, узкие сверху. Наливает на доньшко, греет в руках, вдыхает аромат с таким искренним удовольствием, так заразительно восхищается, что и самой хочется поскорее глотнуть из этого тонкого необычного сосуда.

В одной из центральных частей города помещается его студия. Маленькая, старомодная, без последних технических достижений. Всего один павильон. Большой двор. Во дворе все еще стоят выстроенные для последней картины «Диктатор» улицы. В павильоне большой кабинет Хинкеля (пародия на Гитлера) из той же картины. Сейчас студия пуста. Никого нет, кроме сторожа. Скоро будет закончен новый сценарий и снова здесь все оживет.

Крошечная уборная, так не похожая на роскошные, полные зеркал, вертящихся кресел, хрустальных флаконов, уборные современных звезд. В ящике стола черный карандаш для бровей и глаз, кусочек крепе для усов, заячья лапка.

— Вот и весь мой грим, — говорит он.

В шкафу старые широкие брюки, башмаки с загнутыми носами, тросточка, котелок. Смотришь на них, как на старых знакомых.

Малюсенький просмотровый зал. Как-то он показывал в нем несколько своих старых короткометражных картин. Я взяла с собой свою маленькую дочку. Она хохотала, чуть не падая с кресла. Чаплин, не отрываясь, смотрел на нее.

— Вот настоящее, неиспорченное восприятие, ради этого и стоит работать, — сказал он.

Меня всегда поражала в Чаплине совершенство, если можно так выразиться, его действий.

Что бы он ни делал, казалось, что именно это он делает лучше всего. Когда он играет в теннис, думаешь: неужели этот человек еще что-нибудь может делать на такой недостижимой высоте? Танцует ли он, рассказывает ли — кажется, что вот как раз это-то и есть его единственный дар. Даже ест и пьет он особенно изящно и красиво.

Как-то в начале знакомства он предложил станцевать с ним танго. Я чуть не померла со страха. Глядя на него, такого легкого, воздушного в танце, чувствовала себя неповоротливой, неуклюжей. Оказавшись в его руках, я и думать забыла об этом. Он заставил меня выделять самые сложные фигуры так непринужденно, без всяких усилий, будто я танцевала с ним всю

жизнь.

Всегда с ним было просто и свободно. Талантливейший, доброжелательный собеседник, он подмечал любой пустяк, придавал ему особый смысл, приятный и лестный для партнера. Одна русская женщина, плохо говорившая по-английски, рассказывая про какого-то несимпатичного ей человека, сказала (буквальный перевод): «Мне неприятно совершать с ним рукопожатие». Чаплин пришел в восторг: «Она же поэт!» — и даже цитировал ее.

Ему противна была всякая фальшь, показуха. Не выносил мещанства. Не очень любил актерское общество. И в фильмы свои старался найти какого-нибудь нового, неизвестного артиста. Как актера очень ценил Адольфа Менжу. Дружил с Дугласом Фербенксом и Мэри Пикфорд.

У них с Уной все было ясно, просто и естественно на редкость.

Я думала, что он не умеет водить машину. Каждый раз, когда случалось куда-нибудь ездить вместе с ними, за рулем сидел солидный шофер. Очень осторожный, аккуратный, не превышающий скорости. Еще бы, он вез такого драгоценного человека! Мне казалось, что и сам Чаплин побаивается быстрой езды.

Как-то вечером они предложили поехать за город, довольно далеко, на берег океана. На месте шофера сидел сам хозяин.

— Разве вы умеете управлять машиной? — спросила я.

— Немножко, — ответил он.

— Я сижу рядом. Я на страже, — улыбаясь, сказала Уна.

Дорога была довольно узкая, извилистая и гористая. Мы мчались с бешеной скоростью. Без всякого напряжения, с обычной своей непринужденностью рассказывал он какие-то истории, заливаясь смехом. Увлекаясь, жестикулировал обеими руками, отпускал руль, не снижая скорости. Я посматривала на Уну — она сидела спокойная и уверенная.

Шестнадцатого апреля он пригласил на свой день рождения. Отпраздновать его решил не дома, а у своего друга, неофициально женатого на известной негритянской танцовщице, очень умной, обаятельной женщине. Вдали от города, в прериях — деревянное бунгало с бревенчатыми стенами, с бревенчатым потолком. Конюшня с великолепными лошадьми.

Гостей было всего несколько человек. Как всегда с Чаплинами, было уютно, весело и интересно. В середине ужина захлопали двери и появилась, как в ковбойском фильме, стройная девушка в высоких сапогах, в широкополой шляпе — дочь хозяина от первого брака, прискакавшая верхом с прогулки. Отец

пожурил ее за опоздание, мачеха взяла под защиту. И в этой семье чувствовалась спокойная, дружная, светлая жизнь.

Чаплину очень хотелось побывать в Советском Союзе. Не знаю, почему он так и не приехал к нам. В сороковых годах предполагался его фестиваль в Москве. Ему даже были присланы образцы пригласительных билетов. Он обрадовался, как ребенок. Держа конверт в руке, нетерпеливо искал очки, как назло потерялись! Нашел, придерживая их рукой, надевал долго, углубился в рассматривание билетов. С гордостью их всем показывал.

Ему очень нравились русские, нравился русский язык. Иногда он напевал: «Гай-да тройка, снег пушистый» — или, раскатисто произнося русское «р-р-р», говорил: «На горе Арарат растет красный виноград», этим, пожалуй, его познания и ограничивались.

А Уна, «моя четырехглазая», как называл ее иногда Чаплин, когда она надевала очки, Уна серьезно занималась русским языком. Однажды она показала написанное ею целое сочинение о том, как она проводит свой день. Все было очень хорошо и правильно, только в конце стояла такая фраза: «Каждый вечер в одиннадцать часов я обычно ухожу в отставку». Так она перевела, тщательно пользуясь словарем, английский глагол, имеющий несколько значений (в том числе и отход ко сну).

Все это было давно. Осталась у меня фотография вместе с Уной. Портрет Чаплина с дарственной надписью и подарок его — длинный, изящный мундштук, — «русская душа», как там называли такие.

Магическая буква «ч»! Из всего виденного в Америке, многообразного и интересного, из десятков встреченных там замечательных людей самые главные, самые сильные, самые прекрасные — Чаплин Чарлз Спенсер и Чехов Михаил Александрович.

ОТ ХВОСТИКА МОРКОВКИ...

(Жан-Поль Руссильон)

Первый раз я увидела его, сидя в зале Ленинградского Малого оперного театра на спектакле «Рыжик» Жюль Ренара, привезенном из Парижа прославленным театром Комеди Франсэз.

«Рыжик» — «Пуаль де карот» — «Хвостик морковки» — так в оригинале называется эта пьеса. Милое, смешное прозвище как нельзя больше подходило к рыженькому худенькому мальчику, очаровавшему издавшего виды ленинградского зрителя.

Тонкий, как хлыстик, несмотря на широкий черный балахон, неуклюже болтавшийся на нем. Правдивый, непосредственный до невероятия. Сияли наивные детские глаза, то смеясь, то наполняясь слезами.

До Жан-Поля Руссильона эту роль в ренаровской пьесе, не одно десятилетие шедшей на французской сцене, играли только женщины.

Двадцатидвухлетним юношей он получил эту роль. Выглядел шестнадцатилетним подростком без малейшей натяжки. Успех и признание пришли сразу. И критика, и публика заговорили о нем как о большом актере. Он не обманул их ожиданий.

В 1966 году Николай Павлович Акимов был приглашен на постановку «Свадьбы Кречинского» в Комеди Франсэз. Роль Расплюева он предложил Жан-Полю Руссильону. Я хорошо помнила рыженький прутик, и он никак не вязался у меня с персонажем Сухова-Кобылина. Захваченная и поглощенная Парижем, его улицами и набережными, мостами и бульварами, рынками и холмистыми переулками Монмартра, я до изнеможения слонялась по городу, открыв рот и вытаращив глаза, пока Николай Павлович репетировал.

Так радостно было неожиданно набрести на какой-нибудь перекресток, знакомый по гравюрам, выйти на площадь, запомнившуюся по описанию со школьной скамьи... Самой открывать свой неведомый Париж, так хорошо, казалось, знакомый по живописи и литературе. Так увлекательно было сесть в метро, выйти бог знает на какой станции и через огромную часть города возвращаться в гостиницу пешком, спрашивая дорогу у приветливых, обстоятельных прохожих. Или посидеть в маленьком открытом кафе, вдали от центра, и наблюдать, впитывать, наматывать на вертушку памяти такую своеобразную, семейную, почти провинциальную жизнь парижской окраины.

В первые дни до театра не «доходили ноги». Николай Павлович был увлечен репетициями. Актеры встретили его очень дружелюбно и почтительно. Он был совершенно восхищен высоким уровнем всех цехов и мастерских.

— Завтра нас приглашает обедать Жан-Поль Руссильон, он заедет за нами в половине восьмого, — придя после одной репетиции, сказал Николай Павлович.

Ровно в половине восьмого мы спустились в бар нашего отеля. Нам навстречу из-за маленького столика поднялась плотная фигура. Взрослый, зрелый мужчина с безукоризненными манерами. От «хвостика морковки» остались светлые детские, смеющиеся глаза и неотразимое обаяние. Он уже известный актер, сосыетер Комеди Франсэз. Невозможно пользоваться русским словом «пайщик», оно не вяжется с антикварной роскошью старого театра. Садимся в машину, на заднем сиденье кучей навалена какая-то одежда — мягая куртка, скрученный шарф, что-то еще. Небрежным движением все сдвигается в сторону, частично сваливается на пол. Едем. Не сомневаюсь, все парижане отлично знают свой город, но так, как знает Париж Жан-Поль Руссильон, — я думаю, не знает никто. Все тупички и закоулки, не говоря, конечно, о проспектах и площадях, все святые и злачные места знакомы ему как собственные пять пальцев. Везде он дома, везде он у себя.

Приезжаем в небольшой, очень изысканный ресторан в каком-то совершенно невероятном районе Парижа. Заказывается обед из неимоверного количества немислимых блюд. Одолеть их, даже при волчьем аппетите, невозможно и за неделю. Легкие французские вина, как полагается, белые — к рыбе, красные — к мясу, пестрят этикетками на столе. Больше всех говорит Руссильон. Вот человек, для которого жизнь — радостный дар, и он хватает его. И все-таки прежде всего это актер. Главная тема трепетной, важной беседы — Расплюев. Русский характер. Русские повадки. Русские привычки. Ему необходимо, чтобы его герой получился русским, и он добьется этого во что бы то ни стало.

С трудом одолеваем, и то частично, очень вкусный, но чрезмерно обильный обед, выходим на улицу. Поздно. Садимся в машину.

— Я не повезу вас домой, — говорит он, — я хочу показать вам ночной Париж. Не Пигаль, не площадь Бланш — парижане туда не ходят. Я покажу вам другое.

И мы несемся по ночному, почти пустому Парижу, взбираемся на крутые узкие улочки Монмартра. За обедом выпито немало, страшно, когда колеса подскакивают на подъемах, визжат на

резких поворотах. Николай Павлович, как всегда в таких случаях, невозмутим и спокоен, и я изо всех сил стараюсь не показать, что душа моя подрагивает в пятках.

Уже у входа слышатся веселые голоса, звуки рояля, взрывы смеха. Совсем небольшое помещение. Ряды длинных деревянных столов с длинными же деревянными скамейками. У стены маленькое пианино, за ним веселый человек, почему-то в каскетке, играет, поет — ему подпевают все. Народу полно. С трудом протискиваемся. Нашего «гида», конечно, все знают — встречают улыбками, возгласами, похлопывают по плечу. Приветливо подвигаются, освобождая нам место, и мы вклиниваемся в тесный ряд сидящих. Симпатичная девушка с большим подносом, уставленным стаканчиками, обносит столы — какая-то смесь, не очень крепкая, не очень слабая, приятная на вкус. Другого здесь нет ничего.

Это старый-старый кабачок «Шустрый кролик». Сюда приходят любители милой старой Франции. Любители старинных французских песен, и народных, и городских. Каждый кто захочет может выйти к маленькому инструменту у стены — спеть, сыграть. Знакомую песенку весело подхватят, будут подпевать. Забытую радостно встретят, внимательно выслушают и постараются запомнить, переспрашивая у соседа ускользнувшие слова. И вдруг кто-то заиграет лихую польку, и многие, вскочив с мест, пустятся в пляс в узком пространстве за дальними столами. И все станет похожим на картинку Тулуз-Лотрека, и странно будет думать, что внизу, на Елисейских Полях, освещенных по последнему слову техники, сверхмодные бары, современнейшие витрины магазинов.

А Жан-Поль Руссильон доволен, что привез нас именно сюда. Он подпевает и приплясывает, веселится от души, как будто не было длинного трудового дня, как будто не выложил всего себя на репетиции. А дело уж близится к рассвету.

Комеди Франсэз — академия французского театра. Вековые традиции оберегаются свято. И субординация в большом почете. Пользоваться лифтом имеют право далеко не все. Все зависит от занимаемого положения. А актерские уборные расположены, главным образом, в верхних этажах. Жан-Поль Руссильон, став сосьетером, получил собственную привилегированную уборную и подниматься в нее может на лифте. Уборная эта состоит из двух вполне просторных комнат, с душем, со всеми удобствами.

Большинство маститых актеров, владеющих такими уборными, обставляют их как маленькие квартирки, удобно и уютно, согласно своим вкусам. Характерно, что у Жан-Поля

Руссильона ничего, кроме колченогого табурета перед зеркалом и детской заводной игрушки на пустом полу, нет.

Удивительная вещь — при полном безразличии к бытовым удобствам, при бездумной небрежности в одежде (как-то раз я даже заметила огромную дыру на пятке его носка), он безупречно воспитан. Залюбоваться можно, как он держит себя в обществе, — с истинной аристократической свободой, с простотой неиспорченных детей.

Французское воспитание всегда меня восхищало. Тем печальнее были некоторые наблюдения во время моего последнего визита в Париж, когда смотришь на развалившихся молодых парней на сиденьях в метро и в автобусах и на женщин всех возрастов, едва удерживающихся на ногах в автобусной тряске.

Четырнадцать лет назад ни в одном вагоне общественного транспорта ничего похожего быть не могло. И в лифтах, когда входила женщина, мужчины снимали шляпу и гасили сигарету.

Жан-Поль Руссильон очень чувствителен в вопросах воспитания, и он не выносит актерской фамильярности. При нашем длительном знакомстве, мне никак не удастся уговорить его называть меня по имени, как, впрочем, и принято у них. Нет, он продолжает величать меня «мадам Акимовф», уверяя, что не может позволить себе вульгарное «амикошонство». Я называю его Жан-Поль, но чувствую себя немного неловко, зная его твердые взгляды на этот счет.

Когда я первый раз пришла на рядовую репетицию «Кречинского», меня поразили, во-первых, дисциплина и профессиональный уровень актеров. Легко и свободно, а главное, мгновенно они выполняли любое задание, принимали любое предложение. Сперва пробовали и только после этого оспаривали, если с чем-то не соглашались. Если у кого-то не получалось, он вежливо просил разрешения повторить и повторял, пока не добивался нужного результата, или, убедившись, что это не в его палитре, мужественно признавался и вместе с режиссером искал другое решение. И, во-вторых, атмосфера — дружелюбная и деловая. Нескрываемый интерес, искреннее уважение вызывал у них Николай Павлович. Без всяких скидок на воспитание, они были увлечены и им самим, и его работой. Относились к нему с какой-то покоряющей нежностью. То же можно сказать и про руководителей цехов. Восхищаясь его эскизами, они с любовью, тщательно и заботливо подбирали материалы, обсуждали детали.

Спектакль получился божественно красивый. Просчет был в одном — как ни старались актеры, и очень хорошие притом, они остались прелестными, изящными французами, что никак не

влезало в рамки «Свадьбы Кречинского». Русским был один Расплюев — Жан-Поль Руссильон. Он таки своего добился. Николай Павлович был им очарован, мечтал пригласить его в Ленинград, сыграть в нашем «Кречинском», у нас в театре.

Я думаю, что эта удача Руссильона не только потому, что он замечательный актер. А еще и потому, что в самом его существе очень много русского. Русской широты, доброты, бесшабашности.

В 1969 году Комеди Франсэз опять приехала к нам на гастроли. Николая Павловича уже не было. Жан-Поль навестил меня. По его молчаливому и дружескому объятию я почувствовала, что он помнит и чтит память Николая Павловича Акимова.

В Ленинграде Руссильон жил полно и неумоимо. В свободные от спектаклей вечера ходил по ленинградским театрам. Встречался с ленинградскими актерами. Ему нравились русские.

Посмотрев в Большом драматическом театре «Генриха IV», он явился ко мне около часа ночи.

— Я хочу видеть месье Товстоногофф и месье Лебедефф! — сказал он.

Я как-то говорила ему, что мы соседи.

— Неудобно тревожить людей в такой час. Они, наверное, уже легли спать.

— Сыграв такую роль, месье Лебедефф не может спать. Я хочу говорить с ним и с месье Товстоногофф о спектакле. Я очень взволнован тем, что я видел. После спектакля актеры должны собираться, делиться впечатлениями, спорить, обсуждать... Вы, русские, понимаете это так же, как и мы, французы. Отведите меня к месье Товстоногофф и месье Лебедефф! Они не будут сердиться на поздний визит, если речь идет о таких важных вещах!

Он был так упорен и убедителен, что я, с трудом преодолев мучительную неловкость, позвонила по телефону. После нескольких гудков прозвучал довольно сонный голос Натэллы Александровны, сестры Товстоногова. Ну конечно же, какой стыд, я их разбудила! Извиняясь, спотыкаясь и запинаясь, я объяснила, в чем дело.

— Мы действительно уже легли, — сказала Натэлла Александровна, — ничего, подымайтесь через десять минут, мы сейчас оденемся.

Жан-Поль оказался прав. Двери этого гостеприимного дома готовы открыться в любое время.

Георгия Александровича не было, он еще не вернулся из театра, но разговор с Евгением Алексеевичем завязался сразу же

горячо и увлеченно. Натэлла Александровна проявила чудеса грузинского радушия — перебрались за стол в их уютную кухню, вскоре присоединился к нам и Георгий Александрович, усталый, но, как всегда, оживленный. Вечер, вернее, ночь получилась очень интересной. Может быть, хозяевам это было совсем некстати, но внешне это никак не проявилось, наоборот, — они были так милы, так внимательны, что месье Руссильон остался очень доволен. «Это настоящие люди театра, — сказал он, — видите, как хорошо! Я уверен: если бы мы не встретились, они бы огорчились!»

Прошлой осенью я снова побывала в Париже и, конечно же, повидалась с Жан-Полем. Когда я приехала, его не было в городе — он где-то гастролировал. Я оставила свои координаты в Комеди Франсэз, и в один прекрасный день он разыскал меня во время завтрака в ресторане у «Доминика», по телефону. Он пригласил меня пообедать, и мы условились встретиться у театра в половине восьмого.

Навстречу мне из актерского подъезда вышел обросший бородой, несколько погрузневший, но с теми же ясными, порой лукавыми глазами, все тот же ужасно милый Жан-Поль Руссильон. Он познакомил меня со своей женой, молодой актрисой Комеди Франсэз — Катрин Ферран. Мы очень приятно пообедали в старинном ресторанчике неподалеку от прежнего Аль'я (Чрево Парижа) — от нынешнего Центра Помпиду.

Откровенно говоря, мне было очень грустно увидеть на месте старого рынка огромное ультрасовременное сооружение. Несмотря на многочисленные выставочные и концертные залы, холодное и безликое. Перед зданием — широкая площадь, на которой так сравнительно недавно шла кипучая, ни на что другое не похожая ночная жизнь.

Груды овощей, фруктов, мясные туши, румяные фермеры, загорелые рыбаки, пропахшие морем, перед большими, высокими корзинами — в них копошатся и возятся диковинные морские чудовища. Горы деревенских сыров, бочки с молодым вином, прибывшие с разных виноградников, громадные бутылки оливкового масла, по форме и виду такие старые, что кажется — именно в них привозилось оно сюда во времена Эмиля Золя. Поражает огромность всех этих груд, куч, навалов, этих возов, грузовиков. Это только оптовый рынок. Здесь нельзя купить одну дыню или килограмм слив. Владельцы или управляющие ресторанов, городских рынков, гастрономических магазинов съезжаются сюда по ночам. При свете фонарей заключаются сделки, потом спрыскиваются в бесчисленных ночных кабачках.

Они славятся специальными блюдами старой Франции.

К утру площадь пустеет — валяются капустные листья, изношенные корзины, обрывки веревок, ветер шелестит старыми газетами, лоскутьями рваной бумаги. Появляются метельщики улиц, клошары и кошки.

Клошары — «благородные» бездомные нищие. Они спят в метро, на тротуарах, где проходит теплоцентраль, согревая уличные плиты, на набережных Сены. Старые бродяги, молодых не встретишь среди них. Почти у каждого за плечами драматическая история. Они не просят милостыни, не воруют — пробаваются остатками и отбросами.

Кошек на парижских улицах не видно. Разве только прогуливаемые на поводке или сидящие на цепочке у каких-нибудь лавочек, но тут они появляются десятками. Сероватый рассвет, живописные неторопливые клошары и такие же кошки. Они не мчатся как угорелые. Не спеша, с чувством собственного достоинства и те, и другие осматривают покинутое поле боя — не осталось ли чего-нибудь на их долю. И всегда что-то перепадает, и метельщики их не преследуют.

Это все было. Теперь — просторная пустая площадь перед высоченной постройкой из бетона, железа и стекла. Пройдет время, и привыкнут к ней, как привыкли к Эйфелевой башне. И сейчас одни недовольно ворчат, другие восхищаются. Да и правда, когда вползаешь вверх на бесконечно длинном эскалаторе вдоль почти непрерывной стеклянной стены, как бы постепенно возносясь над Парижем, — впечатление сильное. А на верхнем этаже еще ждет замечательная выставка «Париж — Москва!» Осматривая ее, испытываешь чувство такой гордости за русских художников.

Впрочем, просторную площадь совсем пустой назвать нельзя. К Центру Помпиду тянутся сонмы туристов, заинтересовать их, как зрителей, стремятся многие. И здесь, прямо на мостовой, показывают свое искусство факиры — лежащие голой спиной на торчащих бутылочных осколках или пляшущие босыми ногами на битых стеклах. Маленькие музыкальные ансамбли, компании певцов и певцы-одиночки. Никого не смущает, что рядом расположившиеся группы исполняют совсем другую музыку, часто заглушая друг друга. Каждая группа окружена кольцом своих собственных зрителей, важно их удержать, чтобы они не перешли к другому зрелищу, тут же — рядом. Здесь и танцевальные номера, и маленькие скетчи, и даже целые представления разыгрываются в костюмах и резких, почти гротесковых, гримах.

Но во всем этом есть какая-то искусственность. И старая

церковь св. Евстахия, что так органично вписывалась в живую суету огромного рынка, оказалась как-то в стороне, выглядит обиженной и еще более потемневшей.

«Дон-Жуан» Мольера поставлен в Комеди Франсэз молодым режиссером Жан-Люком Бутте. Спектакль современный, с новаторскими попытками. С завистью смотрю на огромные люстры с настоящими свечами. Пытаюсь их сосчитать — дойдя до ста семидесяти, сбиваюсь со счета. Живой огонь на сцене, как это замечательно! Думаю, французы не меньше нас охраняют свой любимый театр, настоящий исторический музей. Однако их не пугают горящие свечи, — как это театрально и празднично! А мы, в редчайших случаях, с трудом добиваемся разрешения на одну несчастную свечу!

Катрин Ферран, жена Руссильона, очень красива и эффектна в роли Эльвиры. Как всегда, поражает и восхищает сценическая речь французских актеров. В этом подлинное уважение к зрителю — не пропадает ни одна буква, хотя говорят очень быстро. Весь спектакль с одним антрактом, идет два с лишним часа.

По окончании — это дневное представление — Жан-Поль предлагает посмотреть еще один маленький спектакль в филиале театра. Катрин не может присоединиться к нам — вечером она опять занята в «Дон-Жуане».

Выходим на площадь. Машина Руссильона вполне отражает бесшабашный характер хозяина: вмятины на боках — видно, побывала в хорошей переделке. Он лукаво смотрит на меня:

— Мадам Акимовф опять будет бояться меня за рулем?

Подумать только, сколько времени прошло! И заметил, и запомнил трусливый мой вид! А я-то была уверена, что это мой секрет. Наблюдательный, что и говорить, — настоящий актер во всем.

Подъезжаем к Одеону. Это уже много лет постоянный филиал Комеди Франсэз. По тому, как встречают и почтительно приветствуют Жан-Поля Руссильона и актеры, и служащие театра, видно, как его любят, с каким глубоким уважением относятся к нему.

Поднимаемся довольно высоко — третий или четвертый этаж. Это как бы малая сцена. Крошечный зал больше напоминает лестницу. Да, пожалуй, он и расположен на бывшей лестнице. Во всю длину ступеньки — стулья. В каждом ряду не больше десяти — двенадцати мест. Да и рядов всего около двух десятков. Тесновато. Сцена внизу, у подножия. Набито битком. Запасного выхода нет.

Пьеса молодого драматурга Жан-Луи Бауэра «Горести Эдит» поставлена тем же молодым режиссером Жан-Люком Бутте, что ставил «Дон-Жуана».

Юную героиню Эдит играет совсем молодая, очень способная актриса Бернадет ле Саше. Их всех опекает Жан-Поль: и автора, и режиссера, и актеров. Он любит молодежь. Терпеливо возится с ней, заботится о ее будущем. В любую погоду готов сесть за руль бывалой, помятой в дорожных приключениях машины и нестись в другой город посмотреть в новой роли какого-нибудь своего юного подопечного.

После такого насыщенного дня необходимо поесть. Заходим в маленький ресторанчик по соседству с Одеоном. Здесь уже много актеров театра, они приветливо встречают своего любимца — кто-то подсаживается к столу, кто-то отзывает его в сторону. Вот на пороге появляется Бернадет ле Саше — глаза блестят, щеки горят — возбуждена после сыгранного спектакля. Нетерпеливым взглядом обводит посетителей и, просяив радостной улыбкой, бросается к Руссильону. Довольный ею, он нежно гладит ее по голове, делает несколько мелких замечаний, — от внимательных глаз его не ускользает ничего.

За несколько дней до моего отъезда в Ленинград Жан-Поль предложил мне съездить в Реймс — жена его играла там в выездном спектакле. Очень заманчиво полюбоваться на знаменитый Реймский собор, шедевр готической архитектуры тринадцатого века.

С утра лил дождь. Он начался еще накануне вечером, не переставая хлестал всю ночь и вовсе не думал прекращаться. Все небо в тучах, колючий ветер не разгоняет их, холодно, неуютно. И хоть поэт (Максимилиан Волошин) очень верно и тонко подметил, что «в дождь Париж расцветает, точно серая роза», сейчас погода знакомая, привычная, самая что ни на есть ленинградская. Промозглая сырость проникает до костей, угрожая ненавистным гриппом. Не хочется возвращаться домой с распухшим носом и лающим кашлем. Приходится побороть соблазн чудесной прогулки и подчиниться благоразумию.

Жан-Поль огорчился. Он уже наметил целую программу увлекательных развлечений — столько интересного и по пути, и в самом старом Реймсе. Но что делать — заболеть никак нельзя.

Мы прощаемся с ним среди мокрых незанятых столиков у входа в ресторан «Рюк», напротив Комеди Франсэз. Здесь обычно закусывают актеры этого театра. На французский манер он чмокает меня сперва в левую, потом в правую щеку и с изысканным поклоном захлопывает дверцу такси. Машина трогается, из-под

колес взбрызгивает мутный фонтан дождевой воды. На повороте минутная остановка — оборачиваюсь, смотрю в заднее окошечко. Жан-Поль стоит несмотря на дождь. Мокрая голова, мокрая борода. Погрузневший, седоватый. И только глаза — ясные и доверчивые, те же самые, что сверкали когда-то у «Хвостика морковки» на сцене Малого оперного театра в Ленинграде.

ДВА ХУДОЖНИКА В ОДНОМ ДОМЕ

Антракт в театре «Эберто». Идут «Три сестры» в постановке Барсака. Героинь играют настоящие сестры — Марина Влади, Элен Валье и Одиль Версуа. Спектакль только что выпущен. Среди публики много театральных деятелей, актеров, критиков. Как принято говорить — присутствует почти «весь Париж».

Внимание привлекает пожилой, седовато-лысоватый человек небольшого роста. Задерживаясь то у одной, то у другой группы зрителей, он прислушивается к разговорам, заглядывает в лица, улыбается, кивает головой. Он очень подвижен, суетлив, заискивающе общителен.

Подходит и к нам, обращается к Николаю Павловичу. Возгласы: «Давненько, давненько!.. Как вы?.. Что вы?.. Надолго ли?»

— Кто это? — спрашиваю я, глядя на серую подвижную фигурку, которая уже крутится вокруг кого-то в противоположном углу фойе.

— Это художник Юрий Анненков, — отвечает Николай Павлович.

Поднимаемся на лифте на самый верхний этаж. Нажав кнопку звонка, слышим дребезжащую трель по ту сторону двери.

Здесь живет замечательная художница Зинаида Евгеньевна Серебрякова. Вместе с дочерью и сыном она сама встречает нас в прихожей. Что говорить — годы не молодят, но какое сильное и важное, в высоком смысле этого слова, какое прекрасное лицо.

И снова вспоминаются ранние детские годы... Беготня по улицам, игры и шалости в садах, прилегающих к бывшим богатым особнякам. Мальчики Женя и Шура, девочки Тата и Катя Серебряковы, сыновья художника Браза — Эдя и Дима, Андрюша Нотгафт... Мчимся по улице Глинки, врываемся в огромную квартиру Лансере... Мастерская, заваленная холстами, подрамниками... Разбросанные пестрые шали... поставленный натюрморт... запах скипидара... А в центре — в халате из сурового полотна, заляпанном красками, с палитрой в руке — она... Удивительное ее лицо, удивительные живые глаза...

Она ласково улыбается нам, но сама сосредоточена на чем-то другом, мысли ее заняты не нами. И мы как принесли, так и уносимся, а она остается в памяти — ясная, светлая, посреди мастерской с палитрой в руке.

И вот мы стоим с Николаем Павловичем в ее другой мастерской — на верхнем этаже парижского дома. На стенах под

потолком большие холсты. Женские обнаженные фигуры написаны почти в человеческий рост. Это этюды к ее знаменитой композиции «Баня». Каждый этюд прекрасен сам по себе.

Кроме довольно большой мастерской, в квартире еще одна маленькая комнатка — Кати, младшей дочери Зинаиды Евгеньевны. Катя тоже художница — миниатюристка. Она рисует пейзажи, внутренние убранства жилищ различных времен. Мельчайшие детали изображены тщательнейшим образом. Николай Павлович восхищен необыкновенной тонкостью и подробностью ее рисунка.

— К сожалению, теперь никто так не работает, — говорит он.

Шура — Александр Борисович, брат Кати, — архитектор. У него маленькая квартирка в районе Монмартра. Он много занят, свободного времени почти нет.

Зинаида Евгеньевна с дочерью живут скромно. Более чем скромно. Трудно живут. Но это не чувствуется. Обе они ровны, приветливы, ни звука жалобы. Ни на что, никогда. Как независимы они в своей спокойной гордости!

В передней дребезжит звонок. Это Юрий Анненков. Он живет в этом же доме, в одном из нижних этажей. Его принимают ласково. Такое впечатление, что здесь его жалеют. За что?

Покинув семью Серебряковых, спускаемся вниз вместе с Анненковым. Он просит по пути заглянуть к нему, хочет показать Николаю Павловичу новые работы.

Входим в небольшую столовую, обставленную изысканно, с тончайшим вкусом. Ничего, кроме темного живого дерева без малейшего намека на полировку. Высокие прямые спинки у жестких стульев. Гладкая, почти матовая, с едва заметным естественным блеском густо-коричневая поверхность стола. Прямоугольные выпуклости на дверцах буфета и шкафа. Очень строго, даже чопорно, но удивительно красиво. И среди всего этого у окна, закрытого плотной глухой шторой, — большой мольберт. На мольберте холст. Грязно-серый фон, в трех-четырех местах выдавленные из тюбиков завитушки масляных красок неаппетитного цвета. Чуть правее от центра болтается конец пеньковой веревки, приклеенной прямо к холсту. Даже Николай Павлович не удержался и ахнул.

— Вам-то это зачем? — спросил он.

— Ну как же, дань моде... Надо идти в ногу со временем...

Затянувшееся неприятное молчание нарушил сам хозяин. Как-то бочком вильнул он к шкафу, присел на корточки и судорожно стал вынимать папки, отдельные листы, картоны. На свет вылезли старые его работы. Множество замечательных, выразительных, острых портретов, чудесной графики. Были здесь

и неизвестные наброски знаменитых его иллюстраций к «Двенадцати» Блока.

Николай Павлович только приговаривал: «Какие рисунки, какие рисунки! А вы веревочку приклеиваете...»

Зинаиде Евгеньевне захотелось написать мой портрет. «Столковалась по русским лицам», — улыбнулась она. Я, конечно, очень была ей благодарна. Так интересно, легко и весело было с ней. Не верилось, что она уже очень не молода и далеко не здорова. Ясная, открытая, светлая душа. Оказывается, все свои чудесные произведения она писала, видя только одним глазом. Зрение в другом глазу было утрачено в детстве — осложнение после кори.

Глядя на яркий блеск глаз, сияющих с ее ранних автопортретов, кому могло прийти в голову, что видит только один?

К сожалению, так случилось, что работа над портретом началась всего за несколько дней до нашего отъезда. Зинаида Евгеньевна прислала мне фотографию с неоконченного портрета, раскрашенную ее собственной рукой.

Эта одна из моих драгоценных реликвий.

А еще спустя некоторое время из Парижа пришел конверт с черной каймой. Александр Серебряков извещал о печальном событии.

ДОМИНИК

Неподалеку от Латинского квартала, возле шумного бульвара Распай, на старом доме в узкой улице Ла Бреа вывеска — «Доминик». Это знаменитый русский ресторан, очень популярный в Париже. Кухня здесь самая что ни на есть русская. И великолепный борщ, приготовленный по самым строжайшим правилам. И блины, и нежнейшие слоеные пирожки, на самом деле, без всяких преувеличений, тающие во рту. И многие-многие другие русские блюда, о которых так вдохновенно и аппетитно пишет Похлебкин в недавно выпущенной им книжке. Ресторан невелик. Два совсем маленьких зала — один внизу, другой на втором этаже, куда надо подняться по узкой деревянной лесенке.

Но это совсем особенный ресторан. И не только потому, что еда готовится здесь по испытанным рецептам таких знатоков, как Елена Молоховец. Когдаходишь сюда, кажется, что пришел в гости к милым, сердечным людям, они давно тебя ждут и очень рады твоему приходу. С приветливой улыбкой с тебя снимают пальто, провожают на место. Немного тесновато, но домашнему просто и уютно, сервировка стола образцовая, без «модерновых» увлечений. Отличное качество продуктов и обслуживание — заботливое, — чего не бывает уже почти нигде, все это говорит о высокой культуре заведения.

И не мудрено. Владелец этого ресторана месье Леон Доминик, или по-русски — Лев Адольфович, в свое время с блеском окончил Петербургский университет. По специальности журналист, талантливый театральный критик, он и сейчас не оставляет эту профессию. Волею судеб оказавшись за рубежом, он большую половину своей жизни живет в Париже. Трудновато ему уже справляться даже с таким идеально налаженным делом. Правда, в этом ему помогает сын, неукоснительно следуя советам отца, и все же совсем отстраниться Лев Адольфович не может.

Жена его Ольга, постоянная спутница жизни, как говорится, — женщина без возраста. Миниатюрная, изящная, элегантно и просто одетая, умудрилась сохранить совсем молодую стройность. Когда смотришь на ее профиль, и сейчас тонкий и точеный, думаешь, как же она была хороша в юности.

Но главное, что пленяет в этой очаровательной паре, — доброта, безграничное расположение к людям. Желание приветить, обласкать, порадовать. Всем театрам, приезжающим из Советского Союза, всем ансамблям и отдельным гастролерам устраивается радушный прием. «Не могу оставить ресторан — это способ общения с людьми, возможность встречаться со всеми

гостями из России», — говорит Лев Адольфович. Хорошие глаза его смотрят грустно. Неистребима тоска по родине.

Четырнадцать лет назад я выходила из этого здания на набережную Анатоля Франса, сойдя с загородного поезда. Тогда это еще был вокзал Д'Орсэ, правда, уже малооживленный, с редкими поездами из близлежащих окрестностей. Казалось даже, что не было регулярного расписания, будто поезда уходили, приходили сами по себе, когда им заблагорассудится. Конечно, на самом деле этого не могло быть, но чувствовалось, что старый вокзал постепенно отмирает, кончает свое существование.

С большим волнением четырнадцать лет спустя подхожу к тем же стенам на той же набережной. Старый вокзал превратился в новый театр — Театр Д'Орсэ. Руководит им Жан-Луи Барро. Сегодня идут «Крылья» — на днях вышедшая премьера, пьеса Артура Копи. В центральной роли гордость французского театра — Мадлен Рено.

Перед началом заглядываю в огромный театральный буфет-кафе, очевидно перестроенный из зала ожидания. Народу полно. Сохранилась еще вокзальная акустика, характерное гулкое гудение голосов заполняет слух.

Зрители собираются задолго до начала. Закусывают, беседуют, с любопытством разглядывают актеров. Буфет этот предназначен и для публики, и для исполнителей (конечно, пока они не загрированы), что делает его особенно привлекательным. А после спектакля общение обеих сторон становится еще оживленнее. Проголодавшиеся после работы артисты с удовольствием за ужином, приправленным стаканчиком вина, выслушивают мнения о своей игре, делятся впечатлениями, рассуждают и спорят об искусстве.

Приоткрыв дверь, за столиком, почти у самого входа, вижу рельефный профиль и серо-седые волосы месье Барро.

— Можно ли после спектакля навестить мадам Рено?

— Конечно, конечно, — приветливо говорит он.

Зрительный зал. Огромный полутемный ангар. Никаких украшений. Длинные ряды кресел с удобными сиденьями, обитыми искусственной кожей. От сцены по среднему проходу идет постепенно снижающийся настил.

Удивительно разнообразно убранство театральных помещений Парижа. Внешность каждого зала соответствует сущности своего театра. Например — торжественная антикварная пышность величественного Комеди Франсэз или несколько буржуазный шик и блеск изящного «Мишодьер». А «Буф дю Нор» просто ветхая развалюха, не очень опрятный сарай, который

словно говорит: «Наплевать, как я выгляжу, посмотрите, что во мне играют!» И правда, спектакль там идет замечательный — «Совещание птиц», поставленный Питером Бруком!

У Барро аскетическая простота. Главное — ум и сердце.

В радостном ожидании усаживаюсь в третьем ряду. Немного правее перед собой вижу маленькую изысканную шляпку с опущенными полями, зябкие плечи в темном костюме и рядом — гладкую круглую голову над полоской белоснежного воротничка. Конечно, это Доминики. Они не пропускают ни одной премьеры в городе.

— Мы не можем без театра. Театр — все для нас. Это наша жизнь, — говорит Ольга.

Гаснет свет. Вспыхивает прожектор, освещая сидящую на авансцене Мадлен Рено. Ясные глаза ее широко открыты и устремлены вперед, но она ничего не видит перед собой. Взгляд ее направлен как бы внутрь самой себя. Она пытается что-то вспомнить. Так сидит она молча и неподвижно, не дрогнет ни единая мышца лица. Но вы видите, какой глубокий и сложный процесс происходит в ней, и вы не можете оторваться от нее и с волнением следите за ее напряженной внутренней жизнью.

Она играет летчицу, попавшую в катастрофу и потерявшую память. Все действие пьесы — стремление пробудить и вернуть сознание. Пьеса страшная. Не представляю, смогла ли я бы смотреть ее в другом исполнении. Но Мадлен Рено начисто лишена патологии. Ее потрясающая внутренняя сила, ее светлое жизнеутверждающее начало делают спектакль — почти монолог — даже оптимистичным. И доброта. Она, потерявшая себя, мучительно ищущая пути к возврату, находит силы сочувствовать врачам в их тщетных попытках излечить ее. Она пытается вернуть память уже не только для себя, но и для врачей. Она хочет подбодрить их, помочь им исцелить себя, доказать, что усилия их не напрасны. Нельзя отчаиваться, нельзя терять веру в себя. И все это понятно без слов, без жестов — одна поразительная эмоциональная сила воздействия. Прозрачной нежности голос, доброта взгляда, доброта улыбки. Как будто она хочет сказать — мы живем в страшном мире, все в какой-то мере теряют себя. Поможем же друг другу не потеряться окончательно, постараемся найти себя и вернуть.

Спектакль кончается. Зал безмолвствует — и взрыв оваций. Сломая голову бегу к ней. Вот дверь, ведущая за кулисы. Какое-то странное большое пустое темное помещение. И вдруг вижу ее — спускается с подмостков (очевидно, со сцены) по неосвещенным и, как мне кажется, шатким ступенькам без перил. Великая актриса после такого изнуряющего спектакля. Невольно

вспоминаю фургон с трехкомнатной передвижной уборной Бетт Дэвис. Но я счастлива, что вижу ее одну, пытаюсь высказать все, что меня переполняет, и спешу на улицу, чтобы не задерживать ее и не утомлять.

В опустевшем коридоре театра — часть публики уже разошлась, часть перекочевала в буфет — встречаю медленно идущих месье и мадам Доминик, направляющихся к Мадлен Рено — выразить свои восторги.

На третьем этаже того же дома, где находится ресторан, — маленькая квартирka. Лев Адольфович и Ольга живут там вдвоем. Сын существует сам по себе — у него своя семья, свое хозяйство.

Маленькая гостиная. Маленький кабинетик. Здесь Лев Адольфович работает — пишет статьи по искусству, рецензии на спектакли. На полках много книг о театре, русской классики. У Льва Адольфовича замечательная коллекция старинных русских кружев. Но главное для них обоих — театр. И здесь они живая энциклопедия — знают всех и все и помнят все на свете. Бескорыстная и преданная любовь к театру. Она выражается и еще в одном — существует премия «Доминик». Она вручается ежегодно лучшему спектаклю сезона.

Не знаю и не хочу знать, сколько супругам лет, — наверное, немало. Я восхищаюсь их неутомимостью, силой их жизненного заряда и, опять же, добротой. В наше время, когда цинизм, грубость и хамство, как злостные вирусы, распространяются по земле, пример искреннего расположения к людям достоин особенного внимания.

Мне кажется, что человек учиться должен всегда, хоть до ста лет, и воспитывать себя можно до бесконечности.

У меня была замечательная бабушка. Она умерла, когда ей было более девяноста лет. К тому времени она ослепла, оглохла, с трудом передвигалась по комнате из-за больных ног. Голова у нее была абсолютно ясная, интерес к жизни нисколько не угас. Она требовала, чтобы ей громко кричали вслух газету, желала знать все, что происходит в мире. А главное, до самого конца не утратила чувства юмора и радости бытия.

Когда мне было семнадцать лет, она спросила меня: «Хочешь быть мудрой?» Я, конечно, ответила: «Очень хочу».

«Каждый вечер, когда ложишься спать, — сказала бабушка, — подумай о проведенном тобой дне. Вспомни, что ты сделала хорошего и что плохого. Чему радовалась, за что тебе было стыдно. Не обидела ли ты кого-нибудь, не огорчила ли. Исполнила ли то, что себе наметила, не забыла ли чего». — «И

все?» — спросила я. «И все», — ответила бабушка.

Я подумала: «Ну вот еще, чепуха какая».

И хотя очень любила свою бабушку, усомнилась в ее совете. А теперь я думаю, что, пожалуй, бабушка-то была права. И вспоминаю ее с благодарностью, как и всех людей, с которыми пришлось встретиться в жизни.



В. Юнгер. Портрет дочери.



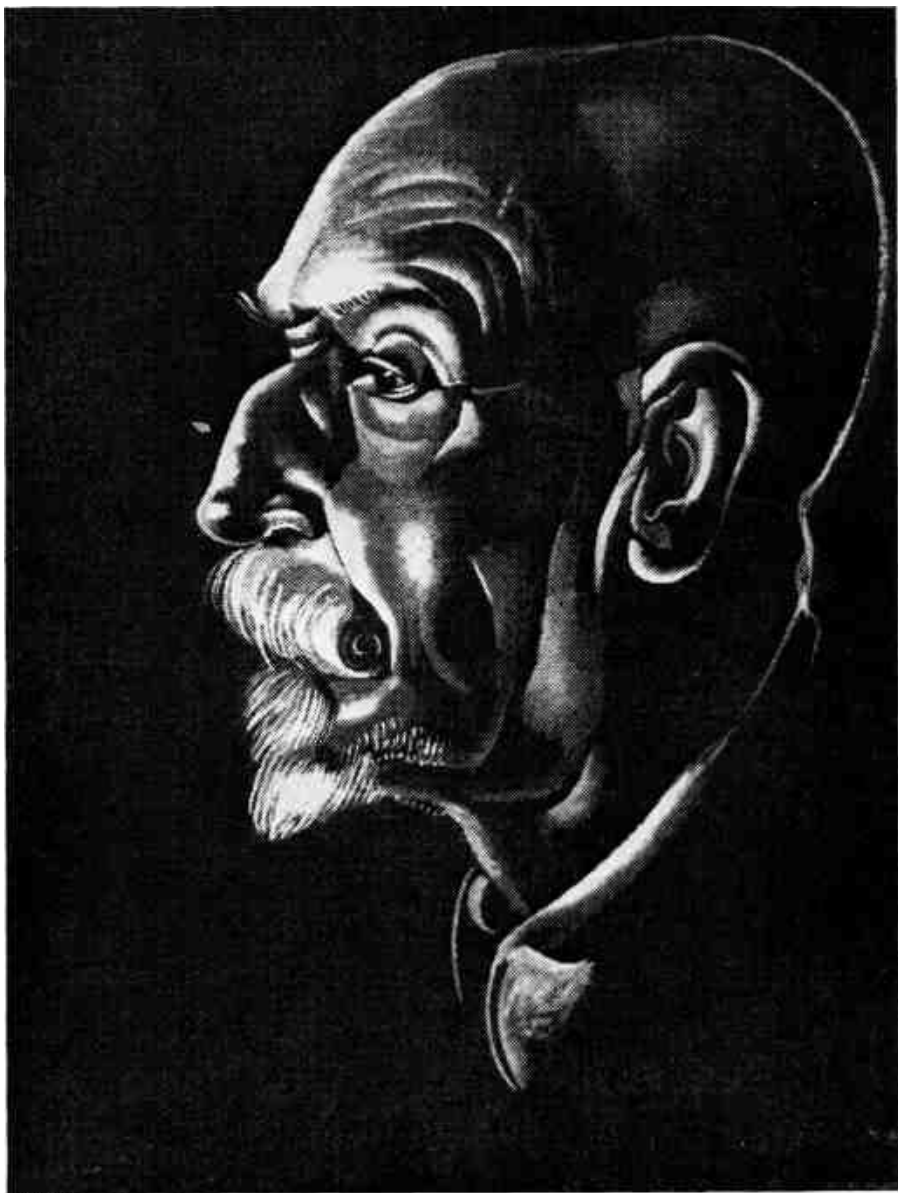
В. Юнгер. Зоя Викторовна Юнгер.



В. Юнгер. Автопортрет.



В. Юнгер. Сергей Есенин.



Н. Акимов. Петр Николаевич Спесивцев.



Н. Акимов. Алексей Михайлович Бонди.



Н. Акимов. Николай Васильевич Петров, Георгий Семенович Денисов.



Н. Акимов. Илларион Николаевич Певцов.



Н. Акимов. Юрий Александрович Завадский с секретаршей.



Н. Акимов. Александра Исаковна Ремизова.



Н. Акимов. Василий Иванович Качалов.



Н. Акимов. Лев Константинович Колесов.



Н. Акимов. Евгений Львович Шварц.



Н. Акимов. Автопортрет.



Н. Акимов. Анюта.



Н. Акимов. Е. В. Юнгер — Люси. «Святыня брака».



notes

Примечания

См.: Гольденвейзер А. Вблизи Толстого. М., 1959, с. 181.